

ЛЮБОВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ



ЕЛЕНА
АРСЕНЬЕВА



РЕЦЕПТ
ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ

Елена Арсеньева

Рецепт Екатерины Медичи

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=161537
Рецепт Екатерины Медичи: Эксмо; Москва; 2005
ISBN 5-699-13901-X*

Аннотация

Ах, это женское любопытство! Невозможно предугадать, куда оно может завести! Совершенно случайно Мари́ка Вяземски получает в руки странную записку-криптограмму. Разве можно оставить ее нерасшифрованной? Только самой девушке вряд ли под силу разобраться в загадочных символах – в записке и древние руны, и магические формулы, и цифровой шифр. Помощниками Мари́ки становятся ее жених Бальдр, кузен Алекс и профессор-окультист – очень опасный человек! Зашифрованная тайна приводит их в Париж и знакомит с медиумом. Чтобы узнать секретный рецепт Екатерины Медичи, Мари́ку и Бальдра вовлекают в странный и жуткий любовный ритуал...

Содержание

Берлин, 1935	113
Берлин, 1942	117
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Елена Арсеньева

Рецепт Екатерины Медичи

Крокодилы пытались нырнуть в Шпрее, но их вовремя поймали и застрелили.

«Берлинский дневник» Васильчикова М.

История, как известно, только всеми принятый вымысел.

Стендаль

– Конечно, то, что здесь у нас нет виселиц, упущение. Во всякой цивилизованной стране...

– Вы, кажется, забыли, мой бригаденфюрер, что рейх – не всякая страна, а государство избранных!

– Смотрите-ка на него! Он еще и зубоскалит!

– Вот и еще одно упущение: и виселиц у вас нет, и зубы у меня целы...

– Ох, Меркурий, вы нарываетесь на неприятности. Неужели вам будет легче, если перед смертью – а ваша смерть будет мучительной, поверьте! – вам еще и зубы вышибут?

– Только прикажите, мой бригаденфюрер...

– Оставьте, Клаус! Ну что вы можете? Раскровенить ему рот ударом кулака и запачкать помещение? Быстро, грубо и грязно. Никакой эстетики. Я еще понимаю, если бы здесь оказался дантист с набором инструментов, который

сначала вдумчиво рассверливал бы ему зубки бормашиной, а потом по одному выламывал бы остатки и вынимал нервы таким железным крючочком... Что, Меркурий? Вы замолчали? Вам больше не хочется шутить?

— Сознаюсь — нет. Я наконец-то понял, что смерть — событие настолько серьезное, что встречать его следует в торжественном молчании.

— Тем более — свою собственную смерть. Вернее, вашу смерть, Меркурий. Хотите, я расскажу, что, собственно, вас ждет через полчаса? Кстати, именно лимит времени не позволяет мне сейчас дать приказ Клаусу вызвать какого-нибудь дантиста, знающего толк в пыточном ремесле. Вы начнете встречать свою кончину ровно в 17.30 и ни минутой позже...

— Кажется, я начинаю благословлять нашу пресловутую германскую педантичность.

— Вы меня перебили, Меркурий.

— Прошу прощения.

— Так и быть, прощаю. Я только хотел сказать, что встречать свою кончину вы начнете в 17.30, а закончите спустя двадцать минут — в лучшем случае. А то и через полчаса. Так что погодите хвалить эту самую педантичность. Как бы вам не пришлось ее проклинать. Молчите, Меркурий? Ну скажите хоть что-нибудь! Не желаете? Тогда скажу я. Как вам известно, обычную казнь путем отсечения головы сочли для вас чрезмерно милосердной, и вы

приговорены к повешению. Но поскольку виселиц в Германии нет, то их заменяют вот эти крюки. Взгляните-ка наверх, Меркурий. Видите, они ввинчены в потолок?

— Они очень напоминают мне те крюки, на которые мясники в своих лавках подвешивают освежаванные туши.

— Вот-вот. Скоро вы будете болтаться на одном из этих крюков, именно что подобно мясной туше, пусть и не освежаванной. Вон тот господин — это ваш палач. Присмотритесь к нему повнимательней, ведь его лицо будет последним, что вы увидите в этой жизни. Так вот, он наденет вам на шею петлю. Однако не веревочную. По приказу нашего фюрера мы заменили веревку фортепианной струной, чтобы вы и вам подобные умирали не от перелома шейных позвонков, а от медленного удушения. Вы будете биться и дергаться, повторяю, от двадцати минут до получаса, а мы будем наблюдать вашу агонию. Если у кого-то сдадут нервы, он сможет подкрепиться коньяком. Кстати, Клаус, а где коньяк? Опять забыли? Ну, это не дело! Сходите за ним. Может быть, мы предложим Меркурию глоточек... последний глоточек радости в этой жизни. Но я продолжу. Видите, по углам стоят софиты? Когда начнется представление, их включают: ведь ваша казнь будет сниматься на пленку. Потом пленку доставят в ставку фюрера, чтобы он немножко поразвлекся. Кстати, такие фильмы и впрямь доставляют ему массу удовольствия. И он очень гневался, когда узнал, что один из кинооператоров сошел с ума во время каз-

ни. «Как этот слабонервный хлюпик умудрился проскочить мимо расового отдела? – кричал фюрер. – Наверняка у него иудейские корни...»

– А кстати, герр бригаденфюрер, уж вам-то лучше, чем мне, должно быть известно, что Лукас Гаурико, из-за которого заварилась вся эта каша, был иудеем и, значит, ни за что не проскочил бы мимо вашего расового отдела.

– Да бросьте, Меркурий. Ну что вы, право, брызжете ядом, словно издыхающий кентавр Несс? С чего вы взяли, что Гаурико был иудеем? Прочли в какой-нибудь жидовской книжонке? Им дай волю, они чего только не напишут! И Христос у них иудей, и все апостолы, и Гаурико, и Нострадамус, само собой разумеется... Нет уж, не бывает тому! Влюбом случае я вполне присоединяюсь к высказыванию геноссе Геринга: «Я сам решаю, кто здесь еврей!» Я не верю ни одному слову, написанному в Библии, понятно? И она, и Новый Завет – не более чем апокрифы, измышленные сим пронырливым племенем, которое умудрилось захватить в свои руки первоисточники. Мне даже случалось читать какой-то бред на тему, будто сама звезда Давида представляет собой символ извечного соединения мужского и женского начал, которое является краеугольным камнем всей человеческой философии и основой всех отношений между людьми. Эти, в пейзах и ермолках, очень бойко елозят своими перышками по бумаге! Мне жаль, что вы решили отдать за них жизнь. Чем они вас взяли? Вас, истинного арийца,

человека такого ума, такой силы духа... Вспомните, сколько вы перенесли испытаний! Вам давался шанс исправить ошибки молодости. Вы могли бы стать великим человеком в рейхе, если бы только захотели. Чем они вас подкупили?

– Вы будете смеяться, герр бригаденфюрер. Меня никто не подкупал. Мне вообще наплевать на евреев. Но антифашизм рождается из отрицания нацизма, а значит, из отрицания антисемитизма, хотите вы этого или нет. Нельзя быть одновременно нацистом и христианином!

– А зачем вообще быть христианином, Меркурий? Главное – думать о величии своей державы... Вы напоминаете мне глупого юнца, получившего огромное наследство и бездарно промотавшего его на дешевых шлюх. Вы ради племени предателей и сами совершили предательство, уподобившись Иуде. То, что вы получаете теперь, совершенно заслуженно. И если употребить библейские аналогии, то получается, что вас, как нечестивого Олоферна, предала на смерть бесстрашная Юдифь... Но довольно болтать. Вон идет Клаус с коньяком. Я не предлагаю вам выпить – уже и операторы подросли, и главный прокурор входит... Еще донесут, что я чрезмерно любезен со смертником! Так что... прощайте, Меркурий. Что ж, *meine Herren*, можете приступать.

– Падайте, фрейлейн! Падайте!

Сильнейший толчок в спину – и Марика летит вперед. Едва успевает выставить руки, не то грянулась бы лицом в рыже-белые обломки кирпича и известки. Какая-то тяжесть на-

валивается сверху. Вдобавок что-то страшно воет, грохочет совсем рядом, и эти кошмарные звуки приближаются, наваливаются, оглушая, выматывая нервы душераздирающим визгом. И вот разрыв! Марика утыкается в сгиб руки, ладонью другой бессильно шарит по голове, пытаюсь прикрыть макушку. Первое ощущение – накрыло прямым попаданием в ближайший дом. И дыхание спирает, и глаза лезут из орбит, и пронзительный крик – даже не верится, что это она, Марика Вяземская, может кричать таким истошным заячьим криком! – рвется из груди, и сверху кто-то задавленно хрипит и содрогается. Мелькает мысль, что человек, сбивший ее с ног и прикрывший своим телом, убит и теперь бьется в последних конвульсиях, выпуская предсмертный хрип. Молниеносное воспоминание из вчерашнего дня: Марика идет мимо развалин, возникших на месте какого-то отеля, а может быть, жилого дома (теперь в Берлине все смешалось, очертаний знакомых улиц не узнать, иной раз остановишься в отчаянии, заблудишься среди скелетов зданий и огромных груд битого кирпича!), пожарные и полицейские толпятся кругом, из-под каменных обломков доносится мучительный стон:

– Wenn ich nur Bewusstlos wäre! Если бы я только был без сознания!

«Wenn ich nur Bewusstlos wäre!» – думает сейчас Марика. Ощущение, что на ней лежит труп, даже страшнее мысли о собственной смерти.

Но вот постепенно до нее доходит, что и она еще жива, и жив этот человек, придавивший ее всей своей тяжестью к земле. И немедленно становится легче дышать, потому что он проворно поднимается и хватается Марику за плечи:

– Вставайте, фрейлейн! Бежим! Сейчас снова налетят!

Ничего не видя в клубках пыли, она кое-как встает на ноги, кое-как начинает переставлять их. Человек берет ее за руку и тащит за собой. Он бежит очень быстро, совсем не обращая внимания на то, что Марика еле поспевает за ним и только чудом не падает. Снова нечем дышать... запах гари, пыли, запах газа... Из-за черно-красно-белесой завесы, заслонившей мир, раздается чей-то срывающийся крик:

– Скорей же, господа! Я сейчас закрою дверь!

Человек, который тащит Марику, делает такое резкое движение, что на миг ей кажется, будто он решил оторвать ей руку, и в следующее мгновение она влетает в некую глухую тьму. Под ногами ступеньки, с которых она не падает только чудом... Еще кто-то, успевший спастись в последнюю минуту, прошмыгивает мимо, какой-то очень высокий человек, а потом наверху раздается тяжелое железное лязганье, как если бы закрыли очень тяжелую дверь и вдобавок задвинули огромный засов. И воцаряется тишина, и нет уже больше дымной, газовой вони, вокруг сырой холод, который воспаленным ноздрям Марики кажется чище самого чистого лесного воздуха... Июньскими вечерами на Унтер-ден-Линден нежно, сладко пахло медом... Когда это было? Да было ли

вообще когда-нибудь?!

– Отряхнитесь, фрейлейн, – слышен рядом насмешливый голос. – На вас страшно смотреть.

– Ну и не смотрите, если так уж страшно, – бормочет Мари́ка, делая нелепые движения руками перед собой. Она изо всех сил пытается отряхнуть плащ и волосы, но руки пока не слушаются. – И вообще, что вы можете видеть, когда тут тьма непроглядная?

Ну, не столь уж и непроглядная. Просто незнакомец быстрее освоился с окружающим полумраком, однако теперь и воспаленные глаза Мари́ки начинают различать смутные очертания стен, людей, каких-то вещей. Кажется, они на станции метро – на одной из многочисленных берлинских станций, превращенных с некоторых пор в бомбоубежища. Темнота слабо рассеивается свечами и маленькими синеватыми фонариками, какими обзавелись берлинцы с тех пор, как погасли все уличные фонари. Кто-то читает, кто-то дремлет, кто-то тихо молится... Вот двое играют в шахматы, ребенок пытается завести юлу, очень высокий худой мужчина сосредоточенно отряхивает коротковатый и слишком широкий ему плащ, наверное, с чужого плеча. А, кажется, этот человек вбежал в убежище вслед за Мари́кой. Как хорошо, что он спасся! Как хорошо, что спаслись все эти люди! Дай Бог, чтобы метро оказалось надежным укрытием...

В каких только убежищах не побывала Мари́ка за последнее время, что живет в Берлине! На прошлой неделе поли-

цейский поймал ее в самом начале тревоги и силой втолкнул в тесное, узкое помещение, все опутанное трубами с горячей водой. Наверное, это была котельная. От одного взгляда на трубы становилось страшно: ведь в случае попадания бомбы все здесь были обречены свариться заживо! Марика тогда вспомнила судьбу одного дома на Харденбергштрассе, неподалеку от того, где она сама снимала квартиру: бомба упала рядом с домом, и от ударной волны лопнули трубы в подвале, куда спустились жильцы в поисках спасения. Все утонули, хотя квартиры их остались в целости и сохранности, только стекла вылетели.

В метро все же лучше, чем в подвале или в котельной.

Марика оглядывается. Кое-где на платформе видны низенькие, в половину человеческого роста, стены: кто-то из ее знакомых говорил, будто их возвели на некоторых станциях метро для того, чтобы перекрыть путь воздушной волне.

– Неуютное местечко! – раздается рядом все тот же насмешливый голос. Его обладатель и закрывал Марику собой от осколков камня, потом тащил ее в убежище...

Марика поворачивает голову и смотрит на незнакомца. Он не слишком высок – а впрочем, это только с точки зрения Марики, которая выше ростом, чем большинство знакомых ей девушек и молодых людей. Кому-то это нравится, кому-то нет, кто-то сплетничает, что напрасно Марика Вяземски (так произносят ее трудную русскую фамилию немцы) кичится своим аристократическим происхождением: истинные ари-

стократки должны быть изящны, миниатюрны, а она... Ну да, она высокая. Как это говорили ее русские предки? Верста коломенская! Интересно, нравятся высокие девушки этому господину в пыльной серой шляпе и мятом сером макинтоше, туго-натуго перетянутом поясом, словно щеголеватый летчицкий комби друга Марики, знаменитого пилота Бальдра фон Сакса? У незнакомца такая же тонкая талия, как у субтильного Бальдра, хотя в плечах он гораздо шире. Мари-ка видит бледное лицо с узким ртом, прямым носом, над которым углом сошлись брови, и мерцающими глазами. Цвет их сейчас не различить, конечно, но можно не сомневаться, что мерцают они насмешливо, никак иначе! Сколько ему может быть лет? Тридцать, сорок? Про таких говорят: неопределенного возраста, без особых примет. Конечно, с одного взгляда ясно, что расовый отдел он пройдет с гордо поднятой головой, а все же ничего в нем нет особенного, что бы позволяло ему разговаривать с незнакомой девушкой с такой оскорбительной снисходительностью!

Внезапно длинные брови этого человека изгибаются забавными уголками. Похоже, он чем-то изумлен.

– Фрейлейн Мари-ка? – восклицает он. – А я-то не понимал, почему не мог справиться с искушением и не спасти жизнь очаровательной барышне! При моем-то вопиющем эгоизме... Оказывается, я просто хочу, чтобы вы как можно дольше входили в число моих знакомых. Как видите, именно эгоизм – движущая сила моего альтруизма!

Вообще говоря, у Марики великолепное чувство юмора. Это признают все ее приятели и подруги, однако, во-первых, она этого человека совершенно не помнит, а во-вторых, иронические интонации его голоса успели надоесть. Что в ней такого, что так веселит ее спасителя? А вдруг... а вдруг он успел заметить, что на ней нет чулок? Вот именно, что нет – голые ноги искусно разрисованы в мелкую сеточку особой краской, которую где-то, на каком-то военном складе, раздобыл Марики и ее подруге Урсуле все тот же Бальдр фон Сакс. Урсула и Марики чуть не сутки трудились, раскрашивая друг дружке ноги и подбадривая себя смехом: мол, во всяком плохом есть свое хорошее, в данном случае хотя бы то, что шов нарисованных «чулок» никогда не сползет в сторону! Бальдр предлагал свою помощь в разрисовывании двух пар «самых стройных ножек на свете», но подруги со смехом выставили его за дверь, наградив, впрочем, признательными поцелуями. Все-таки женщина без чулок и женщина в чулках – это совершенно разные женщины! Ходят слухи, будто английский парламент принял специальное постановление, разрешающее дамам в связи с трудностями военного времени появляться в публичных местах без чулок. Но рейхстаг такого постановления еще не принял, поэтому каждая берлинка изворачивается как может. По талонам почему-то выдают такие толстые нитяные чулки, что носить их впору только старухам, да и то – зимой. Конечно, на черном рынке шелковые чулки можно достать, как и все остальное,

но жалование у Марики не столь велико, чтобы позволить себе покупать чулки на черном рынке. Они же рвутся чуть не каждый день! То есть одна пара у нее все-таки есть, но она ее бережет на случай холодов. А пока еще тепло, можно походить и в нарисованных чулках. Кажется, этой краской что-то там красят в самолетах, поэтому она несмываемая. Очень забавное ощущение: днем и ночью ты в чулках! Конечно, ноги нужно очень старательно брить, но это уже такие тонкости, о которых мужчины даже подозревать не должны. Однако... однако неужели этот незнакомец и впрямь заметил, что у Марики ноги разрисованы, словно у какого-нибудь индейца из романов Фенимора Купера? Марика, правда, не может припомнить, разрисовывали ли индейцы ноги, но это не суть важно. Итак, незнакомец все же заметил отсутствие чулок и теперь смеется над ней! Но откуда он знает ее имя?

– Вот что, фрейлейн Марика, – решительно говорит незнакомец. – Пойдемте-ка вон туда...

Он машет рукой в сторону какого-то совсем уж темного угла в самом дальнем конце платформы.

– А что мы там будем делать? – артачится Марика, которая ужасно устала, не хочет никуда идти, тем более в эту темноту, а хочет посидеть, просто посидеть – пусть даже на голой и грязной платформе.

– Все, что вы пожелаете, милая барышня, – усмехается незнакомец с каким-то особенным лукавством, и Марика хмурится: право, не зря ходят слухи, будто очень мно-

гие мужчины становятся в бомбоубежищах как-то особенно развязны, отпускают всякие скабрёзности и недвусмысленно склоняют девушек к разным вольностям, а то и непристойностям: якобы все равно пропадать, так зачем беречь то, что они берегут? – Все, что вам будет благоугодно! А прежде всего – попытаемся максимально обезопасить себя. Я сейчас пытаюсь вспомнить наземный, так сказать, мир, и сдаётся мне, что почти над нами находится какое-то здание. То ли ресторан, то ли жилой дом. А вон там, в конце платформы, расположен второй выход из метро, там уж точно ничего нет сверху. Понимаете, о чем я говорю?

Марика кивает. Нетрудно понять его логику: метро в Берлине не слишком-то глубоко упрятано под землю, над ними сейчас лишь тонкий слой грунта. Если бомба попадет в высокий дом, падающая громада запросто может пробить и асфальт, и землю, засыпав тех, кто ищет спасения здесь, на платформе. Пусть уж лучше, кроме земли, над головой ничего не будет, тогда есть хоть какая-то надежда, что после падения бомбы тебя откопают... или не откопают, что в некоторых случаях гораздо лучше. Во всяком случае, умрешь сразу и не будешь мучиться под обломками, как тот несчастный, стон которого все еще звучит в ушах Марики: «Wenn ich nur Bewusstlos wäre!»

– Кстати, – роняет навязчивый провожатый, – не забудьте первое правило спасения: если потолок рухнет, падайте на живот и прячьте голову под согнутым локтем.

Марика снова кивает (это правило с некоторых пор знают в рейхе, кажется, и новорожденные младенцы, которые впитывают его с молоком матери!) и быстро идет в конец платформы. Незнакомец шагает рядом.

По пути они огибают группу старушек, судя по всему, приятельниц, а может быть, соседок, которые сидят, каждая перед своей свечкой, и увлеченно, даже с каким-то ожесточением вяжут носки. Самая что ни на есть мирная картина: бабушки вяжут носочки внучатам... Правда, носки очень большие, явно не детские. Ну что ж, возможно, внучата у бабушек уже вполне взрослые, наверное, сражаются на Восточном фронте... Правда, сейчас лето, шерстяные носки вроде бы не слишком актуальны... однако они свидетельствуют о предусмотрительности заботливых бабулек, а также о том, что они не верят в скорейшее и победоносное завершение русской кампании, которое денно и нощно пророчит по радио министр пропаганды Геббельс, провозглашая при этом свое неперемное: «Фюрер в нас, а мы в нем!» Честно говоря, все это отдает изрядным примитивом и здорово навязло в зубах.

– Посмотрите-ка на них повнимательней! – шепчет в это время спутник Марики, и ей кажется, что он с трудом сдерживает смех.

Она переводит взгляд на лица старушек – и сама едва не хохочет: оказывается, у бабушек подбородки подвязаны полотенцами, и из них, словно бороды, торчат мокрые губки.

– Что с ними? – сдавленно шепчет Марика.

– Считается, что это предохраняет от фосфорных ожогов, – бормочет незнакомец и, не сдержавшись, тихонько хихикает. – Что касается меня, я предпочту ожог такому безобразию. Судя по всему, вы тоже.

– Почему вы так решили? – вскидывает брови Марика. – Может быть, все дело в том, что у меня нет при себе ни губки, ни платочка!

– Мне кажется, вы очень легкомысленная особа, – усмехается провожатый. – Я это сразу понял, когда увидел вас впервые. Вы шли по коридору АА¹ под ручку с какой-то пухленькой блондинкой и так громко хохотали, что даже не заметили шефа, который стоял у дверей своего кабинета и посматривал на вас. Я спросил, кто эти веселые девушки. «Фрейлейн Лотта Керстен и фрейлейн Марика Вяземски из фотоархива», – ответил он. «Как Вяземски? – удивился я. – Это ведь славянская фамилия? Надеюсь, барышня не из остарбайтеров?» – «Вы шутите, Хорстер!» – усмехнулся ваш шеф... Кстати, Хорстер – это я, – небрежно уточнил человек в макинтоше. – Вернее, Рудгер Вольфганг Хорстер, хотя я предпочитаю рекомендоваться просто Рудгер. Если угодно, можете звать меня именно так. Мне, конечно, следовало представиться раньше, но как-то было недосуг. Надеюсь, вы меня простите за некоторое нарушение приличий. Но возвра-

¹ Auswärtiges Amt (нем.) – так в войну называлось Министерство иностранных дел третьего рейха.

щаюсь к вашему шефу. Он сказал: «Отец фрейлейн Вяземски пострадал от большевиков: до последнего времени семья жила в Латвии и перебралась в рейх только после вторжения красных в Прибалтику, лишившись имения под Ригой. У отца какие-то связи чуть ли не в рейхсканцелярии, именно поэтому его дочь здесь. А впрочем, она толковая, хотя и несколько легкомысленная особа».

– О! – восклицает Марика, замирая на месте и бросая на своего спутника уничтожающий взгляд. – О!

Если прежде этот Рудгер Вольфганг Хорстер («просто Рудгер») лишь слегка раздражал ее, то теперь Марика не может смотреть на него иначе как с презрением. Доверительная беседа с шефом *Auswartiges Amt*, бригадфюрером СС Шталером! Шеф никогда не являлся в министерство в штатском – только в мундире и сапогах, помахивая хлыстом и в сопровождении овчарки, такой же угрюмой, как хозяин. Шталер славился отменной зрительной памятью и чуть ли не с первого дня знал, в каком отделе и кем работает тот или иной из многочисленных сотрудников министерства. Однако еще до своего появления в АА Шталер был известен тем, что являлся одним из авторов «окончательного решения еврейского вопроса». Как же это их с Лоттой Керстен угораздило не заметить в коридоре страшного начальства?! Предположим, Марике нечего бояться, но ведь мать Лотты – еврейка. Уж кому-кому, а фрейлейн Керстен надо было быть особенно осторожной в присутствии шефа!

Надо полагать, Хорстер – того же поля ягода, что и Шталер. Только теперь до Марики доходит, что его серый макинтош выглядит весьма подозрительно: именно такие носят «черные берлинцы» – гестаповцы и эсэсовцы, когда хотят выглядеть «как порядочные люди». Можно подумать, их кто-нибудь способен принять за порядочных людей! Наверняка этот Хорстер – тайный агент, какой-нибудь провокатор!

– А кстати, фрейлейн, – осведомляется тайный агент и провокатор, – почему вас зовут Марикой? Кажется, это румынское имя. Или венгерское. Что, у вас не только русские, но и венгерско-румынские корни? Или вы сами переименовали себя в честь очаровашки Марики Рёкк, дабы не отставать от моды? Ну что ж, имя вам весьма к лицу, хотя ваша внешность скорее утонченно-интеллектуальная, а вовсе не броская, как у «Девушки моей мечты»².

Марика презрительно кривит губы и молчит. Незачем этому «просто Рудгеру», приятелю эсэсовца Шталера, знать, что Машеньку Вяземскую стали называть Марикой с легкой руки Бальдра фон Сакса, который влюбился в нее с первого взгляда и принялся захлеб уверять ее и всех приятелей, что наконец-то встретил девушку своей мечты.

– Впрочем, хоть вы и тезки с Марикой Рёкк, актрисы из вас ни за что не вышло бы, – небрежно роняет Рудгер Хорстер. – Вы совершенно не умеете скрывать свои чув-

² Название популярного фильма, в котором снималась знаменитая немецкая кинозвезда, румынка по национальности.

ства. Знаете, что сейчас написано у вас на лице? «Mon Dieu, comme m'a apporté à cette société?»³ А между тем сказано ведь в Писании: «Не судите опрометчиво!»

Это ошибка: Марика отлично умеет скрывать свои чувства! Иначе в Берлине просто не выжить. Если бы она дала волю своим эмоциям, ее прах давно уже выгребли бы из печей крематория Плетцензее⁴. Однако сейчас она и в самом деле вытаращила глаза, услышав, как Хорстер говорит по-французски. Любимый язык Марики... Для нее не было разницы, говорить на этом языке или по-русски. С английским она была в точно таких же прекрасных отношениях – все же в Риге работала секретаршей в американской фирме. По-итальянски Марика тоже болтала вполне бойко. А вот с немецким у нее всегда было неважно.

Именно из-за этого она никак не могла устроиться на работу после переезда в Берлин. Из Риги Марика привезла великолепные рекомендации: у нее-де выдающиеся способности к стенографии и скорописи, отчего она – истинная находка для любой фирмы. Но ведь ее выдающиеся способности проявляются, только если стенографировать на английском! А когда она пришла на испытания в АА и ей дали блокнот с ручкой, начальник канцелярии принялся диктовать так быстро и с таким чудовищным баварским акцентом, что Ма-

³ Боже мой, как меня занесло в это общество? (*фр.*)

⁴ Тюрьма в предместье Берлина, где казнили особо опасных государственных преступников. Как правило, тела их потом сжигали.

рика половины слов не поняла. По выражению лица начальства, читавшего потом ее стенограмму, моментально стало ясно, что результат у нее – хуже некуда. Ее вежливо спроводили, пообещав «подумать», но она уже ни на что не надеялась и была немало изумлена, когда пришло письмо с приглашением работать в фотоархиве АА. Конечно, помогли связи, которые были у papà с давних, еще довоенных (в смысле – до Первой мировой войны!) времен, не то ее, иностранку, никогда не взяли бы в такое учреждение.

Сначала Марика обрадовалась новой работе. Но потом поняла, что радовалась рано: жалование ее составило всего лишь триста марок, причем сто десять вычиталось в качестве налогов. А жить на сто девяносто марок не так уж легко, особенно если тебе двадцать шесть лет и ты торопишься успеть взять от жизни все, все, что только возможно, прежде чем накатят на тебя ужасные тридцать, после которых, конечно, следует либо уйти в монастырь, либо покончить с собой. Ну что ж, у семьи Вяземских после революции нет больше возможности сидеть сложа руки и жить на ренту. А с каким удовольствием Марика делала бы это! В том смысле, что ничего не делала бы. Играла бы на аккордеоне, танцевала бы с Бальдром фон Саксом, лучшим партнером на свете, танго, чарльстон и фокстрот, занималась бы гимнастикой и бежала на лыжах, шила бы себе новые платья, заказывала новые шляпки...

– О, моя шляпка! – в ужасе восклицает Марика. – Пре-

святая Богородица! Где моя шляпка?

– Что вы говорите? – раздается рядом недоуменный голос, и Марика догадывается, что от потрясения перешла на родной язык.

Она бросает на Хорстера отчаянный взгляд и принимает-ся приглаживать растрепанные волосы. Понятно, почему он сказал, что на нее смотреть страшно! Понятно, почему насмеялся! Мало того, что ноги без чулок, так ведь она еще и без шляпки!

А между прочим, именно «просто Рудгер» в этом виноват, никто больше. Ведь это он толкнул Марику на землю с такой силой, что шляпка свалилась с ее головы. И самое обидное, что Марика буквально позавчера получила ее от модистки! Конечно, дома в картонках хранятся еще пять или шесть шляпок: ведь это – единственный предмет дамской одежды, который можно купить без карточек, в любом количестве, на которое хватает денег. Но они все старые, изрядно примелькавшиеся и поношенные. А эта была новая! И такая прелестная!

– Понимаю! – говорит между тем Хорстер с теми же ехидными нотками. – Вы потеряли шляпку? Примите мои соболезнования. Однако не горюйте, многим немецким женщинам в наше нелегкое время приходится нести куда более тяжелые потери. Более того, они должны быть постоянно готовы к новым жертвам ради победы рейха.

Точно! Хорстер – провокатор! Наверное, из тех, кто под-

слушивает досужие разговоры замученных войной берлинцев и доносит потом в гестапо. Ни слова больше, ни полслова!

— Не понимаю, при чем тут женщины? Почему они должны страдать? Конечно, они сами голосовали за приход Гитлера к власти, однако заставлять их платить за свою веру такой дорогой ценой — это бесчеловечно, — слышится вдруг негромкий голос, и Марика оборачивается почти со страхом: кто так неосторожен, кто поддался на дешевую уловку «просто Рудгера»?

В трех шагах от нее, в раскладном шезлонге, какие до войны стояли чуть ли не на каждом берлинском балконе, а потом превратились в незаменимый предмет для обустройства быта людей, загнанных в бомбоубежища, сидит человек, закутанный в плед. На голове его зеленая тирольская шляпа с неизменным фазаньим перышком, седые усы мгновенно напоминают о кайзеровских временах. В первую минуту Марика едва не бросается к нему с восторженным криком: «Дядя Георгий!», настолько он похож на старшего брата ее отца, однако, во-первых, дядюшка живет в Риме, а во-вторых, у него нет столь резкого, воистину орлиного профиля с сильно выступающим подбородком, который кажется еще острее из-за седой эспаньолки и невольно напоминает Марике любимейшую сказку детства — «Король Дроздобород». На вид этому «Дроздобороду» далеко за пятьдесят, а впрочем, из-за полумрака, царящего в метро, трудно сказать точно. В левой

руке мужчина держит листы бумаги, а худые, длинные пальцы правой сжимают разом и фонарик, который бросает узкий, словно лезвие, луч света на страницы, и карандаш, которым человек изредка делает пометки в рукописном тексте.

«Наверное, какой-нибудь профессор готовится к лекциям», – почтительно думает Марика. Кстати, ее дядя Георгий Васильевич Вяземский тоже профессор – он читает семиотику в Римском университете, хотя теперь наука о значении символов отнюдь не принадлежит к числу самых популярных.

– Вы что-то изволили сказа... – высокомерно начинает было Хорстер, но внезапно голос его вздрагивает, и Марика видит, что глаза его приковались к рукописи, которую держит в руках «Дроздобород». Он так и не договаривает, словно онемев.

– А вы что-то изволили спроси... – мгновенно парирует «Дроздобород», и Марика с трудом сдерживается, чтобы не хихикнуть. – А я изволил сказа... что в нынешние многотрудные времена потеря хорошей шляпки вполне может быть отнесена к истинным бедствиям и вполне способна разбить нежное женское сердце. Будь моя воля, я раз и навсегда запретил бы все игрушки с военной, так сказать, окраской, вроде горнов, мечей, барабанов, оловянных солдатиков и т. д. Однако невинные дамские радости достойны всяческого поощрения! Между тем мужчины склонны недооценивать роль этих прелестных мелочей в истории человечества.

Возьмите хотя бы сказки! Красная шапочка некоей болтливой Mädchen, которая пошла в гости к бабушке, знаменитые хрустальные башмачки Сандрильоны, шнурки для корсажа и нарядные ленты, которые сводили с ума легкомысленную Белоснежку⁵, – все это составные части материальной культуры человечества. И кто знает, какую роль сыграла бы злосчастная шляпка в судьбе этой милой фрейлейн, не будь она потеряна. А впрочем... – «Дроздобород» поднимает на растерянную Марику пронизательные светлые глаза и вдруг воздевает руку с зажатым в ней фонариком и карандашом: – А впрочем, что-то подсказывает мне: еще не все пропало! И взамен простенького изделия скромной берлинской модистки вы скоро получите в подарок творение известной французской модельерши мадам Роз. Что-нибудь вроде большого ярко-зеленого сомбреро с черными лентами, которое будет вам удивительно к лицу. Верьте мне, милая барышня!

– Верьте ему, милая барышня, – как эхо отзывается из-за спины Марики Хорстер. – Наш новый знакомый... Кстати, как вас зовут, mein Herr?

– Профессор Торнберг, – благожелательно рекомендует «Дроздобород». Значит, Марика не ошиблась, он и в самом деле человек науки! Интересно, что он изучает? – А вы, господа...

– Я Рудгер Вольфганг Хорстер, а эта девушка – Марика

⁵ Здесь идет речь о сказке «Золушка» Ш. Перро и о сказке «Белоснежка», принадлежащей перу братьев Гримм.

Вяземски, – быстро сообщает «просто Рудгер». – Так вот, верьте герру Торнбергу, Марика! Человек, который читает пророчества Лукаса Гаурико, наверняка и сам способен провидеть будущее!

Торнберг бросает взгляд на рукопись, которую держит в руке, а потом вприщур взглядывает на Хорстера.

– Ого! – бормочет он. – Вы попали прямо в яблочко! Угадать Гаурико практически с полувзгляда, по отдельным выдержкам, – это, знаете, не каждому дано.

– Я читал все три книги Гаурико. И на латыни, и в переводе, – поясняет Хорстер.

Профессор Торнберг пристально смотрит на него:

– Неужели я вижу перед собой коллегу? Вы историк или астролог, герр Хорстер?

– Вы мне льстите, – отмахивается тот. – Книги Гаурико попали в мои руки совершенно случайно. А вы, профессор, астролог или историк, позвольте осведомиться?

– Прошу прощения, – не отвечает на его вопрос Торнберг, – боюсь, тема нашей беседы не слишком-то интересна фрейлейн Вяземски.

Марика взглядывает на профессора исподлобья. Она готова поклясться, что Торнберг перевел разговор на нее, чтобы уйти от расспросов Хорстера. И хоть в его словах можно усмотреть отчетливый намек на ее необразованность, Марика не обижается, а смущенно улыбается:

– Трудно сказать. Беда в том, что я, к своему стыду, просто

не знаю, кто такой Гаурико.

– Стыдиться совершенно нечего, – качает головой профессор. – Я потому и удивился осведомленности герра Хорстера, что о Гаурико знают буквально единицы. Гораздо больше людей осведомлены о Нострадамусе.

– О да! – радостно кивает Марика. – О Нострадамусе даже я слышала. Кто-то совсем недавно рассказывал мне, что однажды фрау Марта Геббельс, которая обожает почитать на ночь оккультную литературу, открыла очередную книжку – и не поверила своим глазам. Взглянула на обложку – там было написано «Центурион Нострадамус», если я ничего не путаю. Фрау ткнула в бок уже задремавшего министра пропаганды, а наутро над позициями французских войск (тогда как раз готовилось наступление на Францию) были рассеяны во множестве листовки с заголовком, набранным крупным шрифтом: «Великий пророк Нострадамус предсказывает победу фюреру!»

– Почти все верно, – улыбается профессор Торнберг, и его «кайзеровские» усы забавно подрагивают. – Правда, Нострадамус не имел отношения к военному ремеслу. То есть он никак не мог быть центурионом, командиром центурии – сотни, основного подразделения римской армии (хотя, строго говоря, численность ее обычно была не сто, а сто двадцать человек, иногда даже сто пятьдесят или двести). Книга пророчеств Нострадамуса называется «Центурии» потому, что она состоит из девятисот семидесяти катренов – четверости-

ший, сгруппированных в сотни. И еще одно уточнение: листовки над французскими окопами были развеяны не раньше, чем соответствующую обработку «Центурий» произвел целый штат сотрудников Министерства пропаганды доктора Геббельса, которых тот придал в помощь некоему Крафту.

– А кто это? – с любопытством спрашивает Марика.

– О, великий, поистине великий человек! – значительно поднимает палец профессор Торнберг. – Именно ему мы отчасти обязаны тем, что третий рейх правит миром, а...

– А мы находимся сейчас здесь, в этом благословенном бомбоубежище! – перебивает Хорстер, и голос его звучит с той же фальшивой патетикой, что и голос профессора.

– Крафт что, строитель станций метро? – недоумевает Марика. – Но я тогда не понимаю, при чем тут астрология?

– Нет, это как раз строительство метрополитена тут совершенно ни при чем, – усмехаясь, поясняет Хорстер. – Крафт и в самом деле астролог и даже якобы ясновидец. Одно время он использовал свои таланты, чтобы удачно играть на бирже. Но вот в 1939 году этот господин взял да и предсказал, что жизнь нашего фюрера подвергнется опасности между 7 и 10 ноября 1939 года. И в самом деле, 8 ноября, чуть только наш вождь окончил свое выступление в мюнхенской пивнушке «Бюргербраукеллер» и уехал, как там взорвалась мощная бомба. Фюрера спасло лишь то, что он на сей раз был необыкновенно краток и закончил свое выступление на десять минут раньше запланированного срока.

– Надо же, как интересно, – задумчиво говорит Марика. – А может быть, при установке бомбы не обошлось без участия Крафта – вот и весь секрет его ясновидения?

На самом деле ей было интересно совсем не это. Ей весьма интересна стала логика Хорстера: если бы Крафт не спас Гитлера, не было бы войны и англичане с американцами не бомбили бы сейчас Берлин. И люди не отсиживались бы в метро, спасая свои жизни...

Снова провокация? Ну, тогда Хорстер напрасно считает всех окружающих идиотами, на такую дешевую удочку уже давно никто не клюет в Берлине.

– Вы умница, дорогая фрейлейн Марика, – улыбается между тем Торнберг. – У вас ясное логическое мышление. Гестапо и в самом деле очень серьезно проверяло Крафта, однако ему удалось доказать свою невиновность. И потрясенный фюрер поставил его во главе штата своих предсказателей.

– Каких предсказателей? – невольно таращит глаза Марика. – Не хотите же вы сказать...

– Герр профессор хочет сказать именно это, – кивает Хорстер, насмешливо озирая Торнберга. – При Министерстве пропаганды существует оккультный отдел, а кроме того, сам фюрер пользуется услугами некоторых доверенных лиц, знатоков оккультных наук, к числу которых, если не ошибаюсь, принадлежит и герр профессор. Не правда ли?

Почему-то Марике кажется, что Торнберг должен ярост-

но защищаться, отрицать это дурацкое и даже оскорбительное предположение, однако он молчит. Молчит, кладет на колени рукопись, сверху аккуратно пристраивает карандаш и фонарик, а потом смыкает кончики пальцев и, глядя поверх них, дружески улыбается Хорстеру.

– Ну что ж, не стану отрицать. Хотя не стану и соглашаться, – говорит он наконец. – Ваше предположение имеет право на существование, как и мое о том, что вы читали Гаурико отнюдь не случайно, как уверяли несколько минут назад, а по долгу службы. Но если так, то почему же вы познакомились лишь с тремя томами его сочинений?

– Лишь с тремя? – недоуменно повторяет Хорстер. – Вы, профессор, намекаете на то, что существует еще один том? Но если так, об этом никто не знает, кроме вас! Общеизвестно, что...

– Общеизвестно! – возмущенно перебивает Марика. – Ничего себе!

– Ну, скажем так, специалистам известно, – снисходительно кивает Хорстер, – что изданы три тома сочинений Гаурико. В первом он пытался с помощью астрологии установить дату распятия и других событий в жизни Иисуса Христа; другая книга была посвящена астрологии и медицине; ну а третий, самый популярный, трактат состоял из шести сборников гороскопов. Гаурико составил гороскопы городов, гороскопы римских пап и кардиналов, гороскопы королей и принцев, гороскопы людей искусства и науки, гороско-

пы умерших насильственной смертью и гороскопы карликов, исполинов, человеческих уродов.

– Этот том был издан в Венеции в 1552 году, – соглашается профессор. – Однако почти накануне смерти, в 1558 году, Гаурико в той же типографии в Венеции напечатал еще один том своих сочинений. В него были включены некоторые новые, прежде неизвестные предсказания, но в основном предметом описания Гаурико стала не астрология, а гораздо более земная наука – криптология.

– Простите? – вопросительно вскидывает брови Марика.

– Криптология, – повторяет Торнберг. – Это название происходит от греческих слов «криптос» – тайный и «логос» – мысль. Криптология – наука о том, как сделать свою мысль недоступной, иначе говоря – зашифровать ее, а потом расшифровать.

– Разве это называется криптология? – недоверчиво говорит Марика. – Я думала, этим занимается криптография!

– Совершенно верно, – покладисто кивает профессор. – Но есть одно маленькое уточнение. Криптография – всего лишь один из подразделов криптологии. Криптография занимается сугубо шифровкой, то есть защитой того или иного текста. Ей противостоит другой раздел криптологии: криптоанализ – разработка способов расшифровки таинственных текстов.

– Break, как выразились бы англичане из Bletchley-Park! – вставляет Хорстер и исподлобья взглядывает на профессора,

явно ожидая его реакции. И та следует без промедления:

– А порою даже с помощью brute force attack! – И Торнберг улыбается так безмятежно, как будто нет ничего более естественного, чем этот разговор двух немцев на английском языке – разговор, происходящий в убежище, где они оба спасаются от английских же бомб.

Марика быстро переводит взгляд с одного собеседника на другого. Если она не сильна в астрологии, то английский язык знает отлично. И ей уже случалось слышать о Блетчли-Парке – викторианском поместье в сотне километров от Лондона, где размещается английский дешифровальный центр, занимающийся разгадыванием немецкой засекреченной переписки. Специалисты центра называются брейкерами – взломщиками, потому что осуществляют именно что break – взлом шифров с применением самых нестандартных методов, brute force attack – грубой силы, как выражаются специалисты. О Блетчли-Парке Марике рассказывал Бальдр фон Сакс. Он слышал от друзей-пилотов, летавших на тяжелых бомбардировщиках: невысказанные награды и почести ждут того, кто умудрится сбросить свой взрывающийся груз на здание Блетчли-Парка! Бальдр любил каламбурить: мол, немецкими бомбами наше командование надеется поразить британскую «Бомбу» – устройство, созданное англичанами с целью «взорвать» все премудрости, на которые столь щедра знаменитая шифровальная машина «Энигма» – невероятное изобретение германского гения, по словам гер-

ра Геббельса. Речь, строго говоря, шла о двух германских гениях: Эдварде Хеберне, который изобрел ее еще в 1917 году, и о берлинском инженере Артуре Кирхе, создавшем независимую промышленную версию «Энигмы» для фирмы «Siemens».

Конечно, Бальдр, беззастенчиво выбалтывал военные тайны, однако не в компании, а только наедине с Марикой. Ей он доверял безусловно, поскольку мечтал со временем на ней жениться. Марика замуж не хотела, однако дружбой с Бальдром дорожила и доверенные ей тайны хранила свято. К тому же Бальдр рассказывал об «Энигме», «Бомбе» и всяких таких вещах таинственным шепотом на ухо Марике, а чтобы говорить о военных секретах вот так... практически во всеуслышание...

Эти двое, Хорстер и Торнберг, теперь не просто беседуют – они, чудилось девушке, ведут между собой некое сражение. Как любит выражаться отец: имеет место быть схватка умов.

Интересно, что делать Марике в такой ситуации? Притихнуть и наблюдать? Задать еще пару вопросов?

Пожалуй, придется... Хорстер что-то слишком уж яростно сверкает глазами, а профессор, напротив, принял чрезмерно безразличный вид. Понятно, что оба до невозможности раздражены. Не переросла бы схватка умов в реальную драку! Как бы их остановить, этих интеллектуальных петухов? Разве что с помощью самого испытанного оружия –

обычной дамской глупости...

— Пожалуй, этот ваш Гаурико был поистине необыкновенный человек, — качает головой Марика с самым что ни на есть наивным и восторженным видом. — И астролог, и криптолог...

— Да, истинный представитель эпохи Возрождения! — соглашается Торнберг. — Пьетро Аретино, Леонардо да Винчи, Лукас Гаурико, да и тот же Мишель де Нотр-Дам, известный нам как Нострадамус, — они были не просто разносторонними личностями, но и воистину гениями. Титанами мысли! И, как подобает высшим существам, обожали загадывать загадки пигмеям — людям обычным. К числу таковых пигмеев они относили не только лавочников или трактирщиков. Отнюдь нет! К примеру, короли и королевы чтились ими лишь постольку, поскольку являлись более или менее щедрыми подателями земных благ. А стоило руке дающего оскудеть, как астрологи преисполнялись презрения к прежним благодетелям и норовили сквитаться с ними. К примеру, Гаурико, о котором мы уже не раз упоминали, прекрасно знал, что христианнейшая королева Екатерина Медичи исполнена ревностной страсти искоренить всех протестантов во Франции и за ее пределами. Гаурико был оскорблен тем, что Екатерина откровенно предпочла ему Мишеля Нотр-Дам и именно его сделала придворным астрологом, а вовсе не Гаурико, который, между прочим, некогда составил гороскопы для семейства Медичи и предсказал Джованни Медичи, будущему

папе Льву X, что он станет главой католической церкви, а юной Екатерине Медичи предрек, что она сделается королевой Франции. Опять же именно Гаурико первым, еще раньше Нострадамуса, предсказал, когда и как встретит смерть супруг Екатерины, Генрих II. Но его заслуги были забыты Екатериной. Чтобы расквитаться с неблагодарной королевой, Гаурико решил зацепить ее самое уязвимое место – женское любопытство. Он распустил слух, будто знает, как навеки избавиться от врагов короны и папского престола – гугенотов. Мол, ему известно, так сказать, окончательное решение вопроса! Да, – замечает Торнберг как бы в скобках, – у каждого времени свой вопрос, который нуждается именно в *окончательном решении*: у кого еврейский, у кого-то – протестантский... Гаурико уверял Екатерину: существует-де рецепт, совершенно алхимический, воздействующий на человеческую природу. Эти сведения Гаурико частично открыл в полной редакции гороскопа Екатерины, опубликовав этот гороскоп в том самом четвертом томе своих сочинений, о котором мы уже говорили. Однако там было больше намеков, чем конкретных рекомендаций. Подлинный «рецепт» он открыл Екатерине. И назначил день, когда надобно готовить сие лекарство: 24 августа 1572 года. Накануне сего дня во Франции и разразилось событие, известное в истории как Варфоломеевская ночь. Оно было первым шагом по исполнению рецепта Гаурико. Однако *окончательного решения* добиться так и не удалось: король Карл IX, испугавшись,

что чернь, раздраженная пролившейся кровью, выйдет из повиновения, остановил бойню, в которой сначала сам принимал живейшее участие. Этим он подписал себе смертный приговор, и Екатерина, давно мечтавшая видеть на французском троне своего второго сына, Генриха Анжуйского, быстренько приложила руку к уничтожению слишком слабого, с ее точки зрения, но законного короля Карла. Однако время уже было упущено, так что Екатерине оставалось только сокрушаться, что количество умерщвленных гугенотов не достигло требуемого числа и рецепт Гаурико остался не воплощенным в жизнь.

— Господи, — с отвращением произносит Марика. — Какое счастье, что этот рецепт утерян!

— Почему вы так думаете? — искоса взглядывает на нее профессор. — Он существует! То есть бумажка с непременно перечеркнутой буковкой R в верхнем углу⁶, может быть, и не сохранилась, однако существует человек, который вполне мог бы этот рецепт заполучить, если бы только захотел. Он хранит его в глубинах своей памяти, только не отдает себе в том отчета...

— Как так? — озадачивается Марика. — Я не понимаю. Вы хотите сказать, рецепт спрятан в каких-нибудь старых бумагах, а человек, о котором вы говорите, не может его найти?

Торнберг вновь косится на нее — на сей раз лукаво — и говорит:

⁶ Так в старину врачи помечали рецепты.

– Ага, я тоже зацепил вас, как Гаурико – Екатерину Медичи? Зацепил вашу ахиллесову пяту – женское любопытство? Ну так позвольте еще немного поинтриговать вас, милая Марика.

Он берет карандаш, вытаскивает из середины рукописи чистый лист бумаги, мгновение размышляет, а потом вдруг начинает рисовать какие-то фигурки и знаки, причем делает это так же легко и просто, как если бы писал набор фраз по-немецки, и даже не готическим шрифтом, а обычной скорописью.

– Как легко у вас это получается! – в восторге восклицает Марика.

– Знаете, что сказал однажды Бетховен, когда кто-то восхитился той скоростью, с какой он испещряет страницу нотными знаками? «Я бы скорее написал десять тысяч нот, чем одну страницу буквами!» – вот что сказал композитор, – не отрываясь от работы, улыбается Торнберг. – С нотами у меня нелады, слуха нет никакого, однако криптография – одна из тех специальностей, в которой я кое-что смыслю.

На листке возникают новые и новые знаки. Марика видит фигурку лежащего человека – однорукого и одноглазого, чей живот перечеркнут крест-накрест, видит знаки, похожие на птиц, непонятный крючок, что-то вроде дерева, шестиконечную звезду, очень напоминающую позорную звезду Давида, цифру 13, свастику в треугольнике, затейливый крест, схожий с четырехлистником или Железным крестом, наградой

рейха...

– Что это значит? – вдруг восклицает Хорстер, брезгливо тыча пальцем в звезду Давида.

Торнберг, увлеченно исчеркавший своей невнятицей чуть не половину листка, останавливается и дерзко смотрит на «просто Рудгера».

– Ну-с, – говорит он насмешливо, – я полагаю, что господа, которые в Германии занимаются «окончательным решением» так называемого еврейского вопроса, дорого дали бы, чтобы получить этот... этот ключ, который я изготавил, следуя семиотическому почерку Гаурико, к его рецептам, некогда данным Екатерине Медичи. Однако боюсь, что в невежественных руках сей ключ воистину станет ключом от ящика Пандоры. Поэтому прошу прощения!

Торнберг аккуратно складывает исчерканный листок и прячет его в карман своего просторного пальто. Вновь включает фонарик и углубляется в рукопись.

Хорстер нависает над ним, и Марика видит, что его буквально трясет от возбуждения.

– Вы пошутили, профессор? – резко спрашивает он. – Вы шутили, когда говорили о возможности «окончательного решения»? Все-таки при чем тут Екатерина Медичи? Я, например, не вижу параллели между гугенотами и евреями!

– Ах, не видите? – спокойно переспрашивает профессор. – Ну что ж, это большое несчастье для тех и других. А

я вижу. И господа Раушнинг, Гербигер⁷, я полагаю, видели. Вообще говоря, вам бы тоже следовало видеть... если вы и в самом деле тот, за кого я вас принимаю.

— А мне наплевать, за кого вы меня принимаете! — запальчиво восклицает Хорстер. — Я хочу побольше разузнать об этом ключе! О способе «окончательного решения»! О четвертой книге Гаурико, наконец!

— Ну что ж, ваше желание весьма похвально, — замечает профессор со своей неизменной благожелательностью. — Надеюсь, оно станет побудительной причиной для новых поисков утраченного и никому не известного рецепта, который, очень может статься, был просто мстительной усмешкой лукавого Гаурико в сторону Екатерины Медичи. Но вы ищите, ищите. Ибо сказано в Писании: «Ищите — и обрящете, толцуйте — и отверзется вам!»

И Торнберг снова направляет луч своего фонарика на исписанную страницу, снова принимается делать в ней какие-то пометки. Рудгера Вольфганга Хорстера для него словно бы не существует больше!

Марика бросает взгляд на лицо своего случайного спутника. Даже в блеклом, синеватом свете профессорского фонарика видно, как взволнован Хорстер. Такое ощущение, что он с трудом сдерживается, чтобы не схватить профессора за грудки, не приподнять его над шезлонгом и не начать трясти

⁷ Эти лица принадлежали к числу основоположников расовой доктрины третьего рейха.

изо всех сил, чтобы тот не выдержал и сказал, сказал...

Да что это с ним?!

Хорстер, который мгновение назад возвышался над спокойно читающим профессором таким олицетворением ярости, внезапно сникает. Прижимает руку к сердцу, потом хватается за горло и вдруг тяжело, мешковато опускается прямо на бетонный пол.

– Что с вами? – испуганно вскрикивает Марика. – Герр профессор, вы только посмотрите!

Торнберг не вскрикивает, конечно, однако он отрывается от рукописи и тоже смотрит на Хорстера. Смотрит с любопытством, без особой тревоги.

– Мне нужен врач, врач... – бормочет Хорстер. – Скорее... Сердце! Я задыхаюсь.

Он откидывает голову. Серая шляпа катится прочь, светлые, аккуратно зачесанные назад волосы разметались по лбу, губы жадно ловят воздух, грудь толчками поднимается и опускается...

– Вы умеете считать пульс, фрейлейн? – спокойно спрашивает профессор.

– Да при чем тут пульс?! – восклицает Марика. – И так видно, что ему плохо!

Она взглядывает на Торнберга, это олицетворение равнодушного интеллекта, с нескрываемой неприязнью и кричит, обернувшись к слабо различимым силуэтам, рассеянными по платформе:

– Есть здесь доктор? Кто-нибудь понимает в сердечных болезнях?

Мгновение тишины, а потом рядом с Марикой раздается голос:

– Что случилось, фрейлейн? Кто здесь нуждается в медицинской помощи?

Какое счастье, что он оказался так близко, этот высокий человек в мешковато сидящем, коротковатом ему плаще! Он не слишком-то похож на доктора, однако это еще ни о чем не говорит. «А ты что, – одергивает себя Марика, – хотела бы, чтобы он спустился в бомбоубежище в белоснежном халате и с медицинским саквояжем в руках?» Изящно-небрежный Бальдр фон Сакс тоже вовсе не похож на человека, который считается вторым в Германии ночным летчиком-истребителем, на счету которого уже шестьдесят три сбитых английских и американских бомбардировщика. К примеру, он не единожды позволял себе идти в полет не в летчицком реглане, а в неформенной одежде. Как-то раз даже в плаще, надетом поверх смокинга, и легких лаковых полуботинках, в которых весь вечер вальсировал!

– Вот, взгляните, – Марика указывает на лежащего Хорстера, и доктор склоняется над ним. Тут Марика вспоминает, что уже видела его некоторое время назад: это именно он вбежал вслед за ней и Хорстером в метро. Очень удачно, что ему это удалось, ведь другого врача здесь, кажется, нет. Во всяком случае, никто, кроме него, не отозвался на призыв

Марики.

Доктор придерживает Хорстера за запястье: видимо, считает пульс. Итак, без этого все же нельзя было обойтись, а Марика так непочтительно прикрикнула на Торнберга, когда он предложил посчитать пульс Хорстеру! Она виновато взглядывает на профессора и замечает, что тот весьма пристально наблюдает за действиями доктора. Наверное, тоже обеспокоен состоянием Хорстера: у того ведь сделался припадок именно потому, что Торнберг отказался говорить о Гаурико.

Тем временем доктор заканчивает считать пульс. Обменявшись несколькими тихими словами с Хорстером, сует руку в карман его плаща, шарит там, достает стеклянный патрончик с какими-то таблетками, вытряхивает одну на ладонь. Хорстер берет ее в рот. С помощью доктора садится, уткнувшись лицом в колени... Врач кивает и отходит, даже не взглянув на профессора и Марику.

И что, это все лечение? Очень интересно! Как будто Хорстер и сам не мог достать из кармана свои собственные таблетки. Ну, в крайнем случае, если уж его охватила такая слабость, мог бы попросить сделать это Марику или профессора. Кто же откажет человеку, когда ему дурно? Может быть, конечно, Хорстер забыл, что у него при себе лекарство? А потом вспомнил?

Может быть...

Вдруг Марика замечает, что огоньки свечек и фонари-

ков заматались. Люди встают, собирают вещи и торопливо устремляются к выходу. Неужели объявили отбой? Неужели бомбежка кончилась? Какое счастье!

В метро вспыхивает электрический свет – верный знак окончания воздушной тревоги! – и Марике сразу становится легче. Честно говоря, она ненавидит такие случайности, как сегодняшняя: оказаться в бомбоубежище далеко от дома, неведь где... Если погибнет, никто даже знать не будет, где ее искать, что с ней вообще случилось! Надо поскорей выходить отсюда и добираться домой. Интересно, цела ли ее квартира? Интересно, будет ли работать метро?

Девушке ужасно хочется выбраться наверх. И поскорей! Но неловко оставить Хорстера. Профессору, такое ощущение, его состояние безразлично: он очень проворно складывает свой плед, собирает шезлонг, прячет рукопись в объемистый портфель, туда же убирает фонарик, поглубже нахлобучивает на голову тирольскую шляпу, подкручивает свои великолепные усы и бросает Марике:

– Всего наилучшего, фрейлейн! Надеюсь, мое пророчество насчет шляпки сбудется. Надеюсь также, что судьба будет ко мне благосклонна и позволит еще хоть раз повидаться с вами. До встречи!

И, не дожидаясь от Марики ответных слов прощания, Торнберг подхватывает свои вещи и устремляется к выходу из метро, ловко лавируя в толпе.

Несколько обескураженная, Марика смотрит ему вслед и

замечает, что долговязый доктор, который недавно пользовал Хорстера, тоже стремится выбраться наверх как можно скорей и следует буквально по пятам за Торнбергом.

– Ну что, вы идете, фрейлейн Марика, или намерены оставаться здесь до нового налета? – слышит она нетерпеливый голос Хорстера.

Да вы только посмотрите на него! Он уже не сидит по-нуру на полу, а стоит, натуго затягивая пояс своего плаща. Шляпа надвинута на лоб. Когда только успел привести себя в порядок? Вид очень решительный. И видно, что он с трудом удерживается, чтобы не броситься вон из метро столь же быстро, как это сделали Торнберг и доктор. Смотрит на Марику, будто на какую-то обузу. А она так волновалась за него! Ну и зря!

– Идите, идите, – обиженно говорит Марика. – Вы торопитесь – ну и ради Бога. А мне спешить некуда.

Она с трудом удерживается от искушения наругать, пожелав ему по-русски – скатертью дорога! Останавливает ее не воспоминание о правилах приличия, а всего лишь невозможность найти в своем не слишком-то богатом немецком лексиконе подходящую идиому. Марика все еще не избавилась от «болезни» переводить с русского на немецкий буквально. Но не скажешь же Хорстеру: «Пусть ваш путь будет гладким, как скатерть!» Это же смеху подобно! Поэтому она просто бросает со всей возможной холодностью:

– Прощайте! – и независимо прячет руки в карманы жа-

кета.

Хорстер взглядывает на нее исподлобья и вдруг улыбается. Нет, это уже не ехидная ухмылочка, которая не сходила с его губ раньше, а мягкая, дружеская, даже ласковая улыбка. Просто поразительно, как меняется его лицо!словно бы совсем другой человек оказывается перед Мариной!

– Идемте, прошу вас, – говорит он негромко. – Ведь нам еще предстоит поискать вашу шляпку.

И протягивает ей руку.

На это Марике даже ответить нечего. Она просто касается пальцами ладони Хорстера и идет с ним рядом к выходу. Легкое, прохладное пожатие его руки почему-то тревожит ее.

Наконец они оказываются на поверхности и немедленно начинают чихать и кашлять: такое густое облако кирпичной пыли окутывает их.

– Назад! – командует Хорстер. – Назад в метро!

Но Марину туда уже никакими силами не затянешь. Хватит, насиделась! Здесь, наверху, дует ветер, он скоро разгонит пыль. Ничего страшного, просто-напросто только что рухнула стена разрушенного бомбой дома, вот и поднялась пыль. Надо немного подождать, постоять и подождать, пока она не осядет. Дело обычное!

– Берегите глаза, упрямыца! – ворчит Хорстер, с силой поворачивая Марину к себе и утыкая ее лицо в свое плечо.

Она делает смятенную попытку вырваться, но Хорстер

держит крепко. Ну да, понятно, он пытается уберечь ее от горячей, режущей пыли. И дело вовсе не в том, что ему хочется позволить себе те самые, уже упомянутые вольности и пообниматься с Марикой. Совершенно так же, грубовато-рыцарственно, он поступил бы с любой другой девушкой. Поэтому она покорно стоит, не вырываясь, не дергаясь, стоит и ждет, пока пыль осядет, а Хорстер ее отпустит.

Стоит, вдыхает запах его одежды (немножко пахнет бензином, немножко – мужчиной) и удивляется: почему она так залилась на него там, в метро? За что? Теперь и не вспомнить. Теперь тоскливо становится от мысли, что вот осядет пыль, и они разойдутся в разные стороны. Вполне может быть, больше и не встретятся никогда. Вот разве что Марика завтра или, скажем, через неделю, наткнувшись в коридоре на вездесущего шефа, отважится подойти к нему и этак небрежно спросить: «А скажите, герр бригадефюрер, как поживает ваш знакомый по имени Рудгер Вольфганг Хорстер? Хорошо поживает? Тогда будьте любезны, передайте ему от меня привет. Заранее мерси!»

Что за чушь лезет ей в голову!

И вдруг Марика замечает, что Хорстер больше не обнимает ее. Он-то не обнимает, а она все еще к нему прижимается. Вот стыд!

Она отшатывается, но Хорстер, такое впечатление, этого даже не замечает. Он стоит неподвижно, опустив руки, и напряженно смотрит куда-то вперед. Лицо у него потрясенное,

глаза расширены.

Марика оборачивается. Пыль немного осела, и она видит, куда смотрит Хорстер.

Там человек – тот самый доктор, который пытался помочь Хорстеру в метро. Он неподвижно стоит неподалеку, прислонившись к стене дома, вернее, к тому, что от нее осталось.

Но ведь это очень опасно! Стены, оставшиеся после бомбежки, могут рухнуть в любую минуту!

Есть что-то странное в его неподвижной позе, но Марика пока еще не понимает что.

«Господи помилуй, да он, кажется, еще больше вырос?» – недоумевает Марика. Ну да, этот человек сделался как будто выше ростом самое малое на полметра. Каким образом? На что-нибудь встал? На что? И зачем? Она еще не слишком-то хорошо видит: глаза все-таки запорошило пылью, их жжет, хочется как следует потереть их, но от этого только хуже станет, и Марика сжимает руки за спиной, чтобы не трогать глаза, и часто моргает, надеясь, что слезы вымоют пыль. Мир расплывается и качается пред ней.

«Нет, этого не может быть, мне мерещится!»

Конечно, мерещится. Как может человек стоять, не касаясь земли? Не может.

Он и не стоит, этот высокий доктор. Он... он пришпилен к стене, вернее, к тому, что от нее осталось. Кусок тонкой длинной трубы газового отопления, которую взрыв разломил и невероятным образом вывернул, вошел в его спину и вы-

шел из груди. Он висит на этой трубе, напоминая насекомое, пришпиленное к странице альбома безжалостным энтомологом.

– Боже мой!

Тошнота подкатывает к горлу, Марика теряет равновесие... Она упала бы, если бы кто-то не подхватил ее. Но не Хорстер. Какой-то незнакомый человек – еще молодой, но с бледным, измученным лицом. Эта бледность видна даже сквозь кирпичную пыль. И волосы у него сплошь запорошены кирпичной крошкой... Марика даже не сразу понимает, что у человека просто-напросто рыжие волосы. Он с ужасом смотрит на висящего врача и бормочет:

– Какое несчастье, какое несчастье! Эти бомбежки... Ужас! Я видел, я все видел. Стена рухнула, и этот несчастный господин изо всех сил отпрянул, пытаясь спастись от падающих камней. Однако он не заметил, что из стены торчит труба. Он не удержался на ногах – и налетел на нее. Он сам себя насадил! Какой ужас! Какое несчастье!

– Сам себя насадил? Неужели? – говорит подошедший сзади Хорстер, и Марика с облегчением поворачивает голову, отводит глаза от страшной картины.

Нет, Хорстер – просто железный человек: ни нотки жалости в голосе. И лицо совершенно спокойно. Быстро же он справился с первым потрясением!

– Ну да, – убежденно кивает рыжий. – Отпрянул, потерял равновесие и упал...

– Разве? – взглядывает на него Хорстер. – А по-моему, он не упал, а подпрыгнул. Посмотрите сами: чтобы насадить себя на эту трубу, ему понадобилось подпрыгнуть как минимум на полметра!

– Какая кошмарная шутка! – бормочет кто-то рядом. И Марика, словно во сне, видит одну из тех старушек, над которыми она хихикала в метро. Старушка осторожно пробирается среди обломков стены, прижимая к себе саквояж, из которого торчат спицы. Голова ее все еще повязана платочком, а около подбородка по-прежнему торчит кусок губки. Старушка то ли забыла вытащить ее, то ли все еще боится ожога фосфорной бомбы. – Шутка из тех, за которые вы будете гореть в аду.

– Лети прочь, старая ворона! – с нескрываемой злобой рывкает Хорстер. – Тем паче что гореть в аду буду не я, а тот, кто убил этого несчастного!

«Кого он имеет в виду? – размышляет Марика. – Английского летчика, который сбросил бомбу, разрушившую дом? Бальдр говорил, что иногда различает сквозь пластиковый колпак кабины лицо томми⁸, улыбается ему и видит его улыбку. Они приветствуют друг друга качанием крыльев, а потом выпускают пулеметные очереди в упор. И каждый раз, рассказывал Бальдр, провожая взглядом падающий чадящий самолет, в котором горит англичанин, он думает: «Прости, my friend, mein Freund, мой друг! Сегодня не повезло тебе,

⁸ Шутливое прозвище англичан.

а завтра, может быть, настанет и мой час. Тогда мы с тобой встретимся в Валгалле⁹ и выпьем за нашу боевую дружбу! Asta la vista!»

– Да он сам, говорю же, он сам наткнулся на трубу! – убеждает рыжий. – Вы что, хотите сказать, я лгу?! – В голосе его звучит возмущение.

– Одно из двух, – стремительным движением Хорстер хватается рыжего за руку, заламывает ее за спину и подтаскивает мужчину к себе. Тот бессильно трепыхается и вопит от боли, однако никто не обращает на него внимания: люди выходят из метро и торопятся как можно скорее добраться до своих домов. Им сейчас не до драки двух каких-то запыленных, разъяренных мужчин. Ну а тем, чей дом лежит перед ними в развалинах, тем более нет дела ни до чего на свете...

– Одно из двух! – повторяет Хорстер. – Или ты врешь и ничего не видел, а просто плетешь, что пришло на ум, или... или ты пособник того, кто это сделал. И скорее всего, второе. Где профессор Торнберг? Говори, ну!

«Он сошел с ума! – понимает Марика. – Он просто-напросто сошел с ума! При чем тут профессор Торнберг?!»

– Какой профессор?! – визжит рыжий, судя по всему, отчаянно жалея, что ввязался в эту историю. – Не знаю я никакого профессора! Я вообще не понимаю, о ком вы говорите!

– Я говорю, – с любезной улыбкой, которая кажется страшным оскалом на его перепачканном разноцветной пы-

⁹ Рай для воинов-героев в древней германской и скандинавской мифологии.

люю лицо, поясняет Хорстер, — о мужчине лет семидесяти в тирольской шляпе и с объемистым свертком под мышкой. Одет он в черное потертое пальто. У него лихие усы наподобие тех, что носил император Вильгельм. Ты видел его? Ты видел, как он убил Вернера?

Марика оглядывается в поисках еще какого-то Вернера. Взгляд ее снова натывается на высокого доктора, все так же висящего на трубе. И она поспешно жмурится, потому что к горлу снова подкатывает тошнотворный ком. «Так ведь это он — Вернер! — вдруг догадывается она. — Так зовут доктора! Но откуда Хорстер знает? Они что, знакомы? Не может быть. Наверное, доктор представился ему там, в метро, когда давал таблетку... Странно все это! Странно и страшно!»

— Не знаю я никакого Вернера! — срывающимся дискантом вопит рыжий. — А этот ваш профессор... да, я его видел. Его завалило, понятно? Теми же самыми обломками, от которых отпрянул тот несчастный. Так что, если вам нужен ваш профессор вместе с его усами и перышком, можете начинать разбирать завал, не дожидаясь, пока приедут пожарные. — И он злорадно хохочет, а потом начинает биться, дергаться с такой неистовой силой, что ему удастся вырваться из рук Хорстера, и он немедленно бросается наутек.

Хорстер с проклятьем кидается вслед, однако тут Марика выходит из своей спячки и преграждает ему путь.

— Вы что? Опомнитесь! — кричит она возмущенно. — На вас смотреть противно! Что вы привязались к этому несчаст-

ному? Почему не верите ему, почему начали пытаться его? Даже если он врет, разве можно быть таким жестоким? Вы... вы самый настоящий...

Она хочет выкрикнуть: «Вы самый настоящий гестаповец!», но осекается. Даже в запальчивости, даже в ярости нельзя давать воли языку. Отец любит к месту и не к месту употреблять старинную поговорку: «Язык доведет до Киева и до кия». Однако в Берлине в 1942 году язык может довести не только до кия, то есть до палки, которой тебя побьют за болтливость, но и до виселицы.

Ой, ну зачем она вечно вмешивается не в свое дело? Вот сейчас Хорстер как вцепится в нее, как потащит в гестапо вместо рыжего, который уже успел растаять в пыли среди обломков стен...

Так и есть: разъяренный Хорстер хватается за плечи и начинает трясти с такой силой, что у нее голова качается из стороны в сторону и, чудится, вот-вот отвалится.

– Знаете, что я вам скажу, фрейлейн Марика? – бормочет он, и язык у него заплетается от злости.

Марике страшно, что это она вызвала такой неистовый приступ ненависти. Девушка пытается вырваться из рук Хорстера, но это бесполезно. И она впервые понимает смысл затейливой фразы, которая прежде частенько встречалась ей в романах: «Его пальцы впились в ее плечи». Да какое там – впились! Чудится, пальцы Хорстера насквозь проткнули ей плечи! Не вырваться, нет, не вырваться!

– Знаете, что я вам скажу, фрейлейн Марика? Ваш шеф польстил вам, очень польстил, когда назвал вас просто легкомысленной. Я бы назвал вас идиоткой. Да-да, безмозглой идиоткой! Зачем вы мне помешали остановить этого человека? Знаете, кто это? Пособник Торнберга, который несколько минут назад хладнокровно и изобретательно убил Вернера! – Он осекается, словно пытаясь справиться с голосом, и продолжает лишь через несколько мгновений: – Я сразу, еще в метро, заподозрил, что Торнберг жесток и коварен, но такого я не ожидал... Этот рыжий пытался отвести мне глаза, но ведь и слепому понятно, что здесь налицо не несчастный случай, а убийство!

Слепому – может быть, но идиотке Марике сейчас понятно лишь одно: из ее плеч через мгновение польется кровь, как льется она из тела несчастного Вернера. Ей больно так, что она теряет не только соображение, но и контроль над собой.

– Отпустите меня! – кричит Марика так, что сама на миг глохнет от своего собственного крика.

Оказывается, с маньяками вроде Хорстера нужно разговаривать именно на таких запредельных высотах: его пальцы мигом разжимаются, и он даже отшатывается от Марики. Его светлые глаза делаются изумленными, как у ребенка. Словно тоненькая иголочка пронзает сердце Марики: кажется, это стыд за то, что она так орет на Рудгера Вольфганга Хорстера, «просто Рудгера». Ну вот еще! Нашла чего стыдиться!

– Вы сошли с ума! – снова кричит она, правда, на сей раз несколько тише. – Профессор погиб, вам же сказали! Как он мог, когда он мог убить этого вашего Вернера?

Глаза Хорстера становятся прежними: узкими, ледяными.

– Я вам скажу, как и когда, – произносит он. – Профессор решил, будто Вернер следит за ним.

Марика вспоминает, что из метро врач (или Вернер, какая разница) шел буквально за спиной Торнберга. Ну что ж, профессор вполне мог решить, будто это слежка. Ну и что?! При чем тут убийство?!

– Профессор – безумец, – продолжает Хорстер. – Помните ту чушь, которую он плел нам в метро? «Окончательное решение», Варфоломеевская ночь, Гаурико, его неизвестная книга... Помните?

– Помню, но не вижу тут никакого безумия, – зло отвечает Марика. – Да и вы слушали «ту чушь», как вы изволили выразиться, с огромным интересом, это я тоже отлично помню.

– Да что вы вообще понимаете? – пренебрежительно бормочет Хорстер. – Под вашей интеллектуально-утонченной маской скрывается совершенная невежа. Вы ведь ничего не знали ни о Гаурико, ни о криптологии. Пожалуй, даже о Варфоломеевской ночи слышали, возможно, первый раз!

Марика так и замирает с открытым ртом. Что-о? Экая наглость!

– Ну так вот, – как ни в чем не бывало продолжает Хорстер. – Сумасшедший профессор решил, будто Вернер сле-

дил за ним, набросился на него, схватил – и с нечеловеческой силой насадил на эту трубу, как жалкое насекомое. Убил безжалостно, чудовищно! А сам бежал! Но у него был сообщник, который наворотил тут кучу всякой ерунды, чтобы дать Торнбергу время скрыться. И вы, слабонервная русская дуручка, помешали мне задержать его!

Ну, все, с Марики довольно!

– Может быть, я и дуручка, и идиотка, – говорит она совершенно спокойно. – Однако мой брат учится в Париже на медицинском факультете. Он хочет стать психиатром. И от него я знаю, что это за штука такая: маниакально-депрессивный психоз, иначе говоря – мания преследования. Правда, мне еще ни разу в жизни не встречались люди, к которым можно было бы применить такой диагноз. До сегодняшнего дня. До того, как я увидела вас, герр Хорстер! – И она делает легкий книксен.

Конечно, раскиданные там и сям битые кирпичи и куски штукатурки – не самое удобное место для демонстрации собственной грациозности. Какой-то обломок попадает Марике под ногу, и она неуклюже шлепается наземь, на то самое место, которое в их семье называется изящным эвфемизмом – пятая точка.

Хорстер не делает никакой попытки ни поддержать ее, ни помочь ей подняться. Он просто смотрит сверху вниз и говорит:

– Этот рыжий негодяй посоветовал мне заняться разбор-

кой завала, под которым якобы погиб Торнберг? Ну что ж, я так и сделаю!

«Просто Рудгер» смотрит на каменную грудку с таким выражением, что на какой-то миг Марике кажется: вот сейчас он накинется на кирпичи и камни и примется расшвыривать их с яростью одержимого. Однако Хорстер поворачивается и начинает поспешно пробираться между развалин к группе пожарных, которые пытаются разобрать какой-то завал. Судя по тому, что вокруг толпятся рыдающие люди, там кого-то завалило, и несчастных еще надеются спасти. Однако Хорстер хватает человека с белой повязкой на рукаве (видимо, старшего в бригаде) за руку и начинает что-то ему настойчиво говорить. Тот отмахивается, словно от докучливой мухи, и Марика злорадно хихикает.

Однако Хорстер не унимается. Он достает из нагрудного кармана какое-то удостоверение и протягивает старшему. Тот внимательно читает и смотрит на Хорстера растерянно. Нерешительно оглядывается на завал, потом смотрит туда, куда показал Хорстер...

Боже мой, да неужели он прекратит спасение людей и пойдет с этим маньяком только потому, что тот облечен какими-то полномочиями, таскает в кармане удостоверение гестапо или СС? Да чтоб ему провалиться, этому Хорстеру, вовек бы его не видеть! Так в ярости думает Марика, но тут же спохватывается: а чего ж ты тут тогда стоишь, если не хочешь его видеть? И в самом деле, пора домой... Может быть,

у нее и дома-то больше нет? Девушка вскакивает и, даже не тратя время на то, чтобы отряхнуться, бросается вперед. Но тут же нерешительно останавливается: чтобы выбраться из развалин, нужно пройти мимо висящего на стене человека... Если обойти, наткнешься на Хорстера, который все еще препирается с начальником пожарной бригады.

Нет уж, лучше мимо мертвеца, зажмурясь, бегом...

Ни зажмуриться, ни бежать не удастся – это опасно для жизни. Старательно глядя под ноги, Марика медленно и осторожно пробирается мимо страшной стены. Но краем глаза она все равно видит несчастного Вернера. Что-то словно бы цепляет ее взгляд. Что, что именно?

«Иди, иди мимо, – твердит себе Марика, – неужели ты хочешь еще раз увидеть кровавую рану, искаженное предсмертной мукой лицо?» Но нет, дело не в позорном праздном любопытстве. Что-то там...

Она резко, словно решившись прыгнуть с крутизны, вскидывает голову и видит, что между судорожно скрюченных пальцев трупа что-то белеет. Какой-то листок, бумажный листок.

«Ну и ладно, ну и посмотрела. Ну и иди дальше!» Но Марика не идет. Она стоит, словно замороженная, и смотрит на скомканный листок.

Что это? Как будто записка... И что? Если это кого-то и должно интересовать, то одного только Хорстера. Странно, почему он до сих пор не вытащил листок из мертвых паль-

цев? Не заметил? Да, в самом деле, с того места, откуда они увидели мертвеца, со стороны метро, бумажки не видно. А вот если пройти мимо него, как прошла Марика...

Что ж там за листок?

Неодолимое любопытство терзает Марику. Она понимает всю позорность и неуместность этого чувства, ей по-прежнему страшно, к горлу вновь подкатывает комок, однако она ничего не может с собой поделаться: кончиками пальцев, вернее – кончиками ногтей, подцепляет листок и выдергивает его из мертвой руки. Да ведь это те непонятные значки, которые рисовал Торнберг! Это его листок!

Кошмар какой... Ничего не понятно!

Но как листок попал к Вернеру?

Стоп, стоп... Хорстер хотел завладеть запиской. Профессор ее не давал. От волнения у Хорстера случился сердечный приступ, он попросил позвать доктора, которым и оказался Вернер.

Да? Ты очень наивная девочка, Марика! А если предположить, что Вернер – сообщник Хорстера... Нет, сообщник бывает у преступников в криминальных романах, а у гестаповцев это называется просто сотрудник. Понятно, почему Хорстер знал его имя, ведь «доктор» – еще один агент, но более мелкая сошка, чем Хорстер. То-то он вбежал в метро сразу вслед за нею и Хорстером! Может быть, Вернер был его охранником, который имел приказ до поры до времени держаться подальше от шефа. И он держался, непрерывно

наблюдая. Легко поверить, что Хорстер нарочно инсценировал свой приступ, чтобы Вернер смог приблизиться к нему, не вызывая подозрений. Он так и сделал. И, «исцеляя больного», получил приказ: пользуясь толчеей, вытащить листок из кармана пальто Торнберга. То-то Вернер со всех ног бросился вслед за профессором! И догнал его, и вытащил листок, но тут...

Что произошло? Вмешалась судьба? Вернер пытался спастись от падающей стены, а вместо этого... Нет, кажется, наблюдательный Хорстер прав: Вернер никак, никаким образом не мог наткнуться на трубу. Разве что она сначала была ниже, как раз на уровне его груди, а потом почему-то поднялась...

Ага, поднялась! Учитывая, что на трубе повисло тело человека, она как раз должна была еще сильнее опуститься!

Неужели профессор, заметив, что Вернер что-то вытащил из его кармана, мигом узнал его, связал концы с концами, понял, что «врач» делает это по приказу «больного», пришел в такое неистовство, что зверски убил несчастного шпика? Почему просто не забрал бумажку? Ах да, потому, что буквально в следующее мгновение его погребло под обломками здания.

Что делать с листком? Выбросить эту абракадабру? Отдать Хорстеру?

Ну, нет! Марика комкает бумажку.

Может быть, просто выбросить эту абракадабру?!

Она растерянно оглядывается и видит, что Хорстер уговорил-таки пожарных перейти к новому завалу, и они сейчас приближаются.

Заметил он, что Марика вытащила из мертвой руки листок, который был ему так нужен? Что он сделает с Марикой, если узнает: она завладела таинственным письмом Торнберга? Судя по той участи, которая ожидала несчастного Вернера, Хорстер и профессор друг друга стоят, и в это дело лучше не вмешиваться. Тем более – глупым девчонкам вроде чувствительной русской барышни. Отчасти Хорстер прав: пусть у Марики и утонченная внешность, но переизбытком образованности и ума она не страдает. Не лучше ли просто скомкать листок, швырнуть в развалины и убраться восвояси?

Вместо того чтобы отбросить бумажку, Марика сует ее в карман плаща – и со всей возможной скоростью бросается бежать, изо всех сил уповая на то, что Хорстер ничего не видел и ничего не понял. И вообще он не знает ее адреса, а значит, никогда ее не найдет. Она освободилась от своего пугающего спасителя! Навсегда освободилась!

О том, что Рудгер Вольфганг Хорстер – добрый, судя по всему, знакомый бригадефюрера СС Шталера, шефа министерства, в котором она работает, Марика начисто забывает...



– Пятнадцать человек на сундук мертвеца, – задумчиво произносит Бальдр. – Йо-хо-хо, и бутылка рому!

– Тебе смешно! – передергивает плечами Марика. – А я до сих пор в себя прийти не могу! Ты и представить не можешь, как мне было страшно!

– Ну, почему – это я могу вообразить. А вот чего не могу представить при всем желании, так это того, как ты решилась вытащить злосчастный листок из мертвой руки... не зря я вспомнил Стивенсона! Смотри, как бы тебя не настигло какое-нибудь там проклятье капитана Флинта. Конечно, когда я с тобой, тебе бояться нечего. Но мне так редко удается к тебе вырваться... Будь осторожна, очень тебя прошу!

– Ты лучше сам будь осторожен. Стивенсон – запрещенный писатель в рейхе, ты разве не знаешь? Смотри не упоминай его при ком-нибудь, кроме меня!

Марика осторожно проводит кончиками пальцев по его щеке, и Бальдр слышит еле уловимое шуршание щетины, которая уже подзатянула его лицо. Таким, небритым, Бальдр поедет в полк. Конечно, ему давно надо было привезти запасную бритву и помазок к Марике, но он боится оскорбить ее чувства: принеси он в ее дом предметы своего туалета, Марика может воспринять это так, будто Бальдр фон Сакс предъявляет на нее какие-то права. Бальдр уважает ее стрем-

ление к независимости (дурацкую строптивость, про себя он предпочитает называть это именно так!), но не понимает, почему, почему, трижды, черт побери, почему он все еще не имеет прав на Марику, если как минимум два раза в месяц (когда позволяет служба) он ночует у нее, спит в ее постели, владеет ее телом, испытывая от этого несказанное наслаждение и, хочется верить, доставляя такое же наслаждение ей. Согласись Марика, Бальдр в тот же день женился бы на ней, даже не поставив в известность родных. Тем паче, что все фон Саксы давным-давно наслышаны и о Марике, и о любви к ней Бальдра, и о ее пресловутой независимости, и о том, что он делал ей предложение раз десять или двадцать, неизменно получая отказ. И при этом она не гонит его от себя, она спит с ним, ходит на вечеринки к их многочисленным друзьям, не возражает, когда ее называют девушкой Бальдра фон Сакса, она хранит его тайны и открывает ему свои секреты! Она даже эту жуткую историю, случившуюся во время вчерашней бомбежки, рассказала только ему, ни словом не обмолвившись ни лучшей подруге Урсуле, ни второй подруге, Лотте. И только Бальдру показала Марика скомканный листок, доставшийся ей таким страшным образом: загадочный листок, испещренный непонятными знаками...

Впрочем, далеко не все знаки так уж непонятны. Что означает буква R, Марика запомнила со слов профессора и рассказала Бальдру. Получается, это и в самом деле рецепт... Чего? Судя по тому, что здесь нарисована звезда Давида, он

имеет отношение к пресловутому еврейскому вопросу... Рецепт отравы для иудеев, что ли?

Бальдр хмурится. Если честно, то по большому счету он антисемит. Он с удовольствием жил бы в «Германии для немцев», избавленной от пронырливого, хитрого, лукавого и лживого племени, заполонившего весь мир. Говорят, даже в Китае есть евреи! Евреи-китайцы, евреи-японцы, евреи-негры... В голове не укладывается! Бальдру приходилось читать Чехова, и он отлично запомнил едкую фразу русского писателя: «Нет такого предмета, который еврей не мог бы избрать для своей фамилии!» Да разве только в фамилиях дело? Все они жадные, расчетливые Шейлоки, все как один...

Бальдр фон Сакс ничего не имел против, когда в 1933 году новый рейхсканцлер Адольф Гитлер запретил все браки между евреями и немцами и объявил недействительными все такие браки, заключенные прежде. И это было только начало! Тогда освободилось много рабочих мест: всех евреев поувольняли с государственной службы, лишили их права заниматься банковским делом, быть юристами, врачами и даже домашней прислугой у немцев. Хотя никто в жизни не видел еврея в роли лакея или еврейку-горничную – они все устраивались как-то иначе. Это была богатая буржуазия, а никакой не пролетариат... И вот они лишились всего: им нельзя останавливаться в отелях, посещать рестораны, а в театрах и кино можно бывать только в определенные часы. Им нельзя водить машину! Если они пожелают покинуть Герма-

нию, то могут забрать собой только пять процентов имущества. Не нравится? Оставайтесь и соблюдайте новые правила жизни! И носите на одежде желтую звезду.

Хотя приказ насчет желтой звезды Бальдр счел совершенной нелепостью. В Германии любят все идеи, даже великие, доводить до абсурда! В конце концов ему стало тошно видеть измученные, испуганные физиономии тех, кто еще недавно выходил из своих «Мерседесов», сверкая бриллиантовыми перстнями и опираясь на кипарисовые трости с золочеными набалдашниками. Он не мог без неловкости смотреть на фрау Розенблюм, вдову антиквара, у которого часто делали покупки его родители. Теперь фрау Розенблюм существовала тем, что распродала свое добро. Добра, конечно, после смерти Соломона Розенблюма осталось много, жила его вдова безбедно, однако в лице ее появилось что-то столь жалкое, приниженное, заискивающее, что очень быстро превратило пышную, внушительную даму в замученную старуху. Бальдр учился в Воздушной академии, ходил, конечно, в форме, и фрау Розенблюм при встрече всегда смотрела на него с таким испуганным выражением, как будто боялась, что сейчас этот молодой курсант, сын ее старинных знакомых, кинется ее беспощадно избивать.

Но самое удивительное, что именно у фрау Розенблюм Бальдр познакомился с Марикой. Это было еще в марте 1940 года. Бальдр сопровождал в лавку мать, которая собралась сменить абажур на своей любимой настольной лампе. Мари-

ка же искала подарок на свадьбу подруге – ей посоветовали зайти к фрау Розенблум, которая распродает по дешевке истинные сокровища. Да, Марика тогда совсем недорого купила серебряный кофейник для подруги, а себе чудное кольцо: бирюза в бронзовой оправе. Правда, на взгляд Бальдра, оно было грубоватое и слишком массивное, но Марика сказала, что любит варварские украшения. Она захотела тотчас надеть кольцо, но никак не могла справиться с застежкой.

Фрау Розенблум куда-то подевала очки, а без них она ничего не видела; фрау фон Сакс, матушка Бальдра, в это время как раз звонила по телефону мужу, чтобы посоветоваться о цвете выбранного абажура; поэтому именно Бальдру пришлось застегивать «варварское украшение» на нежной, длинной шейке Марики, и это так на него подействовало (она стояла, наклонив голову, придерживая пальцами тонкие русые волосы, ее шея была покрыта нежным пушком и, когда Бальдр коснулся ее, вдруг порозовела...), что он бросил матушку в лавке и отправился провожать девушку до такси. По пути выпросил ее адрес, телефон, на другой день повел ее на танцевальный вечер к своим друзьям в испанское посольство, еще день спустя назвал фрейлейн Вяземски просто Марикой и девушкой своей мечты, через неделю сделал предложение и получил первый отказ... Так завязался их роман, и антисемитизм Бальдра дал трещину. Ну да, он по-прежнему хотел жить в «Германии для немцев», по-прежнему недолюбливал евреев как нацию, но считал, что

для некоторых из них можно и даже нужно делать послабления в режиме. Все-таки с девушкой своей мечты он познакомился у еврейки, это раз, а во-вторых, наци, кажется, готовы *окончательно решать* не только еврейский, но и многие другие вопросы. Уже поговаривают, будто и славяне, в том числе русские, – *die Wesen aus dem Sumpf*, существа из болота, и нуждаются если и не в поголовном истреблении, то в самом жестоком обращении, поскольку это – нация рабов. Марика принадлежит к нации рабов?! Марика – существо из болота?! Полный бред... Но Бальдр всерьез тревожился, что браки с русскими запретят прежде, чем он успеет спрятать Марику от всех мыслимых и немыслимых опасностей под своей фамилией.

Потом началась война с Россией, и Бальдр чуть не каждый день боялся, что Марику тоже заставят носить на одежде какой-нибудь позорный знак, вроде красной звезды. Почему нет, от нацистов всего можно ожидать! Он был просто счастлив, что у отца Марики имеются внушительные связи, что она работает в учреждении, сотрудники которого автоматически подпадают под все мыслимые и немыслимые льготы и прикрытия. И все же отчаянно боялся за нее, тем более теперь, когда противовоздушная оборона Берлина то и дело стала давать сбои и все больше английских и американских бомбардировщиков прорывались со своим жутким грузом к столице. Одна мысль мучила его, даже когда он был в полете и сам рисковал жизнью: «Успела ли Марика спу-

ститься в убежище?» И вот надо же такому случиться: в убежище-то Марика спуститься успела, но умудрилась ввязаться в историю, внешне вроде бы безобидную, но – Бальдр чувствовал! – чреватую опасностью. Этот странный профессор-убийца с его загадочной шифровкой, этот Рудгер Вольфганг Хорстер, не то гестаповец, не то эсэсовец... Странно, почему такой знакомой кажется ему его фамилия?

И вдруг Бальдр вспоминает.

– Слушай, Марика! – восклицает он. – А ведь я знаю этого Хорстера! То есть лично с ним не знаком, но слышал о нем. Мои родители были на его свадьбе, когда пять лет назад он женился на Минне фон Вольцф. Ее мать – старинная подруга моей матушки. Они вместе провели несколько лет в швейцарском пансионе, еще в девушках, поэтому моих родителей и пригласили. Отец Минны, Хаген фон Вольцф, – близкий друг самого Геринга. Кстати, Геринг тоже присутствовал на свадьбе Хорстера. Моя матушка – а она, надо сказать, ужасная язва, никогда ни про одну женщину не скажет ни слова доброго, вот разве что тебя постоянно хвалит и говорит: мол, правильно ты делаешь, что отказываешься мне, я тебя недостоин, шалопай этакий, – ну вот, моя матушка все недоумевала, как это кривоногой, конопатой Минне удалось подцепить такого красивого и видного мужчину, как Хорстер. Впрочем, матушка говорила, он из какой-то совсем уж простой семьи, правда, довольно состоятелен и хорошо образован, но для него это был очень выгодный брак. Выгод-

ный для его общественного положения. Говорят, у него была какая-то темная история в прошлом, но у кого ее не было, если даже сам наш любезнейший Адольф провел несколько лет в тюрьме.

Бальдр такой же словоохотливый и язвительный, как его обожаемая матушка, и молчаливая Марика обычно с удовольствием его слушает. Но только не сейчас!

«Значит, он женат...»

Марика сама не понимает, почему это известие причиняет ей такое огорчение. Боже мой, она что, увлеклась этим кошмарным человеком? Груб, жесток, коварен, эсэсовец, а может, и гестаповец, да еще и женился по расчету на какой-то уродине... К тому же ему протезирует сам Геринг!

Кажется, Марика утащила добычу из-под носа весьма опасного господина...

Она берет с ночного столика листок, небрежно брошенный Бальдром, и снова всматривается в рисунки. Почему над звездой Давида нарисована цифра 13? Почему человек лежит на земле, а не стоит? Почему у него одна рука и один глаз, почему его живот вспорот крест-накрест? Он ранен? Это изувеченный инвалид? Что означает набор цифр внизу листка? Что за птицы нарисованы над человечком? Ох, тут одни сплошные вопросы, тут вообще ничего не поймешь, кроме двух букв в конце: «P.S.». P.S. – постскрипtum, который ставится в конце писем или статей. То, что забыли написать в основном тексте, дописывают обычно в постскрип-

туме. Но только это и ясно Марике, а вот что содержит постскриптум, она не имеет никакого представления. А видимо, содержимое очень важно, если даже в самом обозначении поставлен восклицательный знак. Ну и как его расшифровать? Квадрат, напоминающий шахматные клетки, на две четверти черный, на две четверти белый.



Что это – слово? Буква?

Неведомо. Однако значок



ей, кажется, знаком. Если Марика не ошибается, им обозначается планета Меркурий. Ее покойный дед увлекался астрономией, и отец рассказывал, что некогда у них в нижегородском имении была небольшая домашняя обсерватория, в которой стоял самый настоящий телескоп. Разумеется, при Марике никакой обсерватории уже и в помине не было: имение сожгли в семнадцатом, – но несколько книг деду удалось увезти в Латвию, куда бежала семья Вяземских, спасаясь от революции. Марике больше всего нравилось рассматривать атлас Гевелиуса с рисунками созвездий и еще какую-то книгу на латыни, где планеты обозначались символами. Эти символы Марика когда-то знала наизусть, теперь кое-что подзабылось, но она все же помнит, что



– это знак Земли,



– Нептуна,



– Солнца,



– Луны, ну а



– Меркурия. Она также помнит, что



– знак Венеры, а



– Марса, но здесь оба эти знака почему-то собраны в одно целое, так что, скорее всего, не имеют отношения к планетам.

– Слушай-ка, – раздается голос Бальдра, и задумавшая-

ся Марика замечает, что он нагнулся через ее плечо и снова принялся рассматривать загадочный листок, – а вот эту штуку я знаю. – И он тычет пальцем в «шахматный» квадрат: – Вернее, предполагаю, что это может быть. Жаль, что он не цветной! Тогда он имел бы отношение к Международной системе морских сигналов. Если бы его темные части были красными, это была бы буква U – Uniform.

– Правда? – с преувеличенным восторгом смотрит на него Марика. – Буква U? Ну, теперь все сразу стало ясно! Больше ломать голову совершенно не над чем! А что это вообще за Международная система сигналов такая?

– Очень древняя кодовая система. Ее изобрели военные моряки, чтобы передавать информацию во время боевых действий втайне от противника. Еще Геродот писал, что в 480 году до нашей эры в битве при Саламине афинский полководец Фемистокл своим красным плащом давал сигнал другим кораблям греческого флота атаковать персидскую армаду. Между прочим, у персов была тысяча судов, а у греков примерно триста восемьдесят, и все же флот Фемистокла победил. Может быть, именно благодаря этому сигналу, кто его знает. Но это был единичный сигнал. А вот кодовые обозначения штандартами первым применил император Византии Лев VI, что произошло уже в девятом веке нашей эры. В зависимости от того, какой штандарт был поднят, на других судах узнавали, вступает этот корабль в бой или уходит, увеличивает или уменьшает скорость, попал ли в засаду

или участвует в окружении противника, ну и всякое такое. Потом каждая страна разрабатывала свою систему сигнальных флажков. И без адмирала Нельсона в истории применения морских кодов, конечно, тоже не обошлось. В сражении под Копенгагеном в 1801 году дела британского флота обстояли так плохо, что командующий приказал подать сигнал: «Выйти всем из боя». Однако Нельсон не сомневался в победе и, приложив подзорную трубу к черной повязке, закрывающей его незрячий глаз, сделал вид, что не замечает никакого сигнала. Он продолжал сражаться и одержал победу! Конечно, кодовая система менялась со временем, но что этот флаг, – Бальдр ткнул пальцем в черно-белый квадрат, – будь он красно-белым, обозначал бы именно U – Uniform, я не сомневаюсь. Есть еще флаги, которые называются Чарли, Квебек, Фокстрот, Отель, Джульетта, даже Янки... Остальных не помню. А вообще-то я понимаю основной смысл этого ребуса или шарады, назови его как хочешь. На самом деле все просто.

– Да что ты? – вскидывает брови Марика. – Ну и какой же тут смысл?

– Что такое 13? – спрашивает Бальдр и как будто сам себе отвечает: – Несчастливое число. Оно стоит над звездой Давида, ну а что означает звезда Давида, ясно как день. Сочетание этих двух знаков гласит: «Все наши беды от евреев!»

Странные птички



– вовсе не птички, а американские самолеты. Спросишь, почему американские?

– Нет, не спрошу, – усмехается Марика. – Даже я при своем хроническом неумении считать деньги способна догадаться, что означает



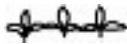
Это доллар, американская валюта. Ты рассказывай, рассказывай дальше...

– Итак, – охотно продолжает Бальдр, – известно, что Америка – средоточие мирового сионизма. Таким образом, можно расшифровать целую фразу: все беды от евреев, которые и наслали на нас американские самолеты. Но евреев надо всех перевешать... Видишь этот знак, который напоминает виселицу аж с пятью повешенными? – указывает он Марике. И она кивает: в самом деле,



рисунок похож на виселицу. – Хотя я где-то читал, будто подобный знак служит эмблемой ростовщиков и ломбардных контор. Или я что-то путаю? В любом случае к записке профессора ростовщики и ломбардные конторы явно не имеют отношения. Все-таки, думаю, это виселица. Всех ев-

реев, значит, перевешать надо, а американцев одолеют наши летчики. Правда же, эти лепестки



похожи на «птички» на моих погонах, на эмблему Люфтваффе, наших военно-воздушных сил? Ну вот, все пилоты будут за это награждены, а рейх победит.

– Ужас какой... – бормочет Марика. – Ну а это ты откуда взял, скажи на милость?!

– Ты же не станешь отрицать, что свастика – символ рейха? Мне, правда, не совсем понятно, почему она заключена в треугольник. – Бальдр так и сяк поворачивает лист, разглядывая рисунок



, – но думаю, что для вящей убедительности. Чтобы все обращали на знак внимание. А вот эта штука



– символ награды, которой будут удостоены победители. Ведь это типичный Железный крест, наш высший орден, которым, как ты помнишь, недавно был награжден и твой верный раб.

Бальдр пытается отвесить поклон, но поскольку мизансцена происходит в постели, он не скатывается на пол сам и не сваливает Марику только чудом.

– Ну что ж, твоя расшифровка впечатляет, – говорит она, поправляя съехавшие подушки. – Но не слишком! Во-первых, нам совершенно непонятен лежащий человек с одним глазом, одной рукой и разрезанным крест-накрест животом.

– А мне он очень даже понятен! – перебивает Бальдр. – Мне кажется, это символ Германии, которая стонет под еврейским игом.

– Если кто сейчас и стонет, – с горькой усмешкой перебивает Марика, – то как раз евреи...

– Ты рассуждаешь обобщенно, – наставительно говорит Бальдр. – Но самолеты на рисунке – знак именно силы евреев, вернее, сионистской Америки.

– Хорошо, пусть так, – соглашается Марика. – А что-то вроде копья, которое человечек держит в руке? Я знаю, ты скажешь, это символ борьбы. Но почему оно круглое —



? Круглое, ты только посмотри! А что за черная птица над ним летает? Вот эта —



? На самом деле она очень похожа не на птицу, а на летучую мышь.

– Это и есть летучая мышь, – авторитетно заявляет Бальдр. – Олицетворение зла, которое исходит от евреев. Ко-

пье – правильно, символ борьбы. Оно означает, что битва с мировым сионизмом будет идти не только в воздухе, но и на земле. А закругленным оно получилось случайно: может быть, у твоего профессора просто рука дрогнула. Все-таки он рисовал не за столом сидя, без помощи чертежных инструментов.

– Да уж, условия в метро были спартанские! – соглашается Марика.

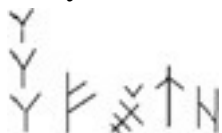
– Кстати, – задумчиво говорит Бальдр, – крест на животе у человечка, может быть, не крест, а Х? Ну, икс, знак неизвестности. И может быть, Х обозначает англичанина?

– С чего вдруг? – изумленно смотрит на него Марика. – С таким же успехом это может быть итальянец, турок, американец, даже русский!

– Конечно, – кивает Бальдр. – Просто с англичанами и иксами связана одна смешная история. В самом начале войны, когда только-только заговорили о возможности нашего вторжения в Англию, тамошние власти опасались внезапной высадки десанта и решили сбить парашютистов с толку. Они убрали все названия с указателей и заменили их иксами. И появились такие, например, таблички: «Вы подъезжаете к XXXXXXXXXXXX-на XXXXXX, родине Вильяма Шекспира». Смешно, да?

– Ну, если не знать, что Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне, название города и в самом деле трудно определить, – строптиво возражает Марика. – Нет, мне кажется,

«икс» не имеет отношения к Англии. Это просто знак неизвестности... Ой, да тут одни сплошные знаки неизвестности! А вот дерево, что оно означает? И ветки? И все эти странно изогнутые палки тут зачем? – Она тычет пальцем то в «дерево», то в «странно изогнутые палки»:



– А цифры под лежащим человечком? Это явно какой-то шифр... Я же тебе говорила, что профессор и Хорстер говорили о шифрах.

– Шифр нам никогда в жизни не разгадать, – с сожалением констатирует Бальдр. – Цифры могут значить все, что угодно. Если бы, конечно, тут было прямое обозначение цифр буквами, мы бы текст в два счета прочли. Понимаешь, о чем речь? Ну, когда **A** – это **1**, **B** – **2**, **C** – **3** и так далее. Но здесь, мне кажется, все сложнее. Я прикинул: первое слово выглядит как **18 24 7 15 6 7 13 6**. То есть в буквенном обозначении **RXGOFGMF**. Нелепица!

– погоди, – растерянно говорит Марика. – Я не поняла, откуда ты взял какой-то «рксгофгмф»?

– Оттуда! – буркнул Бальдр и стал терпеливо, как ребенку, пояснять: – Если буквы алфавита обозначить цифрами по порядку, то **18**-й будет **R**, **24**-й – **X** и так далее, я же говорил. Так что получается именно **RXGOFGMF**. Только ни в

английском, ни во французском, ни в немецком языке такого слова нет. Может, это по-русски?

– Нет в русском языке никакого «рксгофгмф»! – обижают-ся Марика. – Не слово, а белиберда какая-то. Но я не понимаю, как ты мог настолько быстро просчитать, какая цифра соответствует какой букве?

– Я ничего не просчитывал, а просто знал это, – улыбается Бальдр. – Мы с моим другом в детстве дурачились, шифровали все подряд – простейшим образом, чтобы не напрягать особенно мозги, поэтому систему соответствия букв и цифр я запомнил на всю жизнь, лучше, чем таблицу умножения. Но это ерунда. Вычислить слово просто, а понять, что оно значит, – практически невозможно. Сочетание цифр в нижней строке тоже выглядит нелепо: получается **ZQO YQDSUFGD**.

– «Зкуо йкудсуфгд...» – с трудом повторяет Марика. И машет обреченно рукой: – Чушь, чепуха! Еще хуже, чем «рксгофгмф». А может, это по-турецки, по-китайски, по-японски? Точно! Очень похоже на японский язык!

– Это может быть также по-арабски, по-еврейски, по-румынски, по-монгольски, по-норвежски... – в тон продолжает Бальдр. – И так до бесконечности! Допускаю, что твой профессор – полиглот, но, думаю, его энциклопедическая эрудиция тут ни при чем. Он просто-напросто применил какой-то цифровой шифр, который нам в жизни не разгадать без ключа. К примеру, если бы мы были уверены, что это знамени-

тый шифр Юлия Цезаря, то прочли бы его запросто.

– Что такое шифр Юлия Цезаря? – оживляется любопытная Марика.

– Да тоже один из древнейших цифровых шифров.

– Как это смешно звучит по-немецки: цифровой шифр, – пожимает плечами Марика. – А я где-то читала, что у нас в России в древности, когда только начинали применять цифровые шифровки, они назывались так – «цифирные письма».

Бальдр натянуто улыбается. Русский язык кажется ему несуразным. Он бы точно никогда не смог выучить его, хотя французский и английский дались ему легко. А ведь он пытался: спрашивал у Марики, как будет по-русски «я тебя люблю». И чуть язык не сломал на этих словах. Ну что за кошмар: Ja tebja lublu! То ли дело – Ich liebe dich! Коротко и ясно! Но у Бальдра хватает ума не вступать с Марикой в лингвистические дискуссии. Она обожает свой русский язык! Ее лицо расцветает нежной улыбкой, а поцелуи становятся жарче, когда он, запинаясь, бормочет это варварское: «Ja tebja lublu!» Да ради Бога, он готов «говорить по-русски» с утра до вечера и с вечера до утра. Если только не надо отправляться в полет...

– Давай, давай, – теребит его Марика. – Рассказывай про шифр Юлия Цезаря.

– Цезарь придумал не прямое цифровое обозначение букв, а смещенное на три знака. То есть **А** уже не **1**, а **4**, **В** не **2**, а **5**. Ну и так далее.

– А вдруг это и в самом деле шифр Юлия Цезаря? – оживляется Марика. – Давай попробуем прочесть.

Она вскакивает с постели и, не заботясь даже подхватить с полу халатик, бежит к письменному столу, хватая чистый листок бумаги и карандаш. За возможность лишний раз полюбоваться ее изящной фигурой, состоящей из удлиненных овалов и совершенных линий, ее прелестной узкой спиной, этими волнующими ямочками чуть ниже поясницы, а потом, когда она поворачивает обратно, колыханием неожиданно тяжелых для тонкого стана грудей, плоским животом с дивной ямочкой пупка и темным кудрявым треугольничком межножья, – о, за возможность лишний раз увидеть возлюбленную обнаженной, во всей красе, особенно в этих искусно нарисованных и таких возбуждающих сетчатых чулочках, Бальдр готов на все. И даже попытаться не только разгадать, но и заново составить шифр Юлия Цезаря! Конечно, ему хотелось бы заняться кое-чем другим, но если Марика увлеклась играми ума и ей не до постельных игрищ, Бальдр кое-как смирят свое возбуждение и, набросив на Марику простыню (чтобы не искушаться понапрасну!), начинает выписывать на поданном ею листке ряды букв и цифр.

– Ну, вот и шифр Юлия Цезаря, – показывает Бальдр алфавит с подписанными числами, начиная с цифры 3. – Теперь смотри, что у нас получается...

Марика внимательно следит за чередой букв, «рождающейся» при использовании нового шифра, и разочарован-

но вздыхает, видя, что получается «пуюмдекед вом вобкусдеб». Снова абсолютно непонятное сочетание букв! У Бальдра сконфуженное лицо...

– Оставим это, – великодушно предлагает Марика. – Выходит самая настоящая глоссолалия, как любил говорить мой высокоученый дядюшка Георгий, то есть полная бессмыслица. Нам эту подпись в жизни не прочитать. Ты прав, нужен ключ. Откуда мы знаем, что думал профессор, когда писал эти цифры? Может быть, в них и смысла-то никакого нет, так же как в прочих «палках» и «деревьях».

– Мне кажется, что «палки» очень похожи на руны, – говорит Бальдр, с облегчением комкая исчирканный цифро-буквенной сумятицей листок. – В самом деле похожи. Жаль только, я не понимаю их значения. Может, «Старшую Эдду» почитать? Вроде бы она не запрещенная, учитывая, что наш любезнейший Адольф помешан на нибелунгах и викингх...

– Вся наша библиотека так и пропала в Латвии, – вздыхает Марика. – Я же тебе рассказывала: мы бежали от Советов буквально с двумя чемоданами... «Старшая Эдда» у нас была, я ее, правда, не читала. Но, наверное, можно взять в городской библиотеке? А там что, в самом деле приводятся начертания рун?

– Увы, – качает головой Бальдр, – никаких начертаний там не приводится, только некоторые названия и значения. У нас в гимназии это прочно вдалбливали на уроках литературы. И отец говорил, что раз меня называли в честь героя «Старшей

Эдды», сына бога Одина, я должен всю сагу знать наизусть. И про то, как матушка Бальдра, богиня Фригг, взяла клятву со всех вещей и существ – с огня и воды, железа и других металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда змей, – что они не принесут вреда ее сыну. И про то, что такой клятвы она не взяла только с ничтожного побега омелы. И про то, как злокозненный Локки, мечтавший навредить Одину, подсунул прут из омелы слепому богу Хёду, и тот убил моего бедного тезку... Про это я и впрямь до сих пор помню:

Бальдр,
бог окровавленный,
Одина сын,
смерть свою принял:
стройный над полем
стоял, возвышаясь,
тонкий, прекрасный
омелы побег.
Стал тот побег,
тонкий и стройный,
оружьем губительным,
Хёд его бросил...

– Ужас какой! – сердито машет рукой Марика. – А по-
мрачнее имя тебе не могли выбрать?

– Между прочим, гибель Бальдра – первое предвестие бу-

дущих Сумерек богов, по сути дела – конца света. Видишь, какая я важная персона! В «Старшей Эдде» он описывается так:

Солнце померкло,
земля тонет в море,
срываются с неба
светлые звезды,
пламя бушует
питателя жизни,
жар нестерпимый
до неба доходит!

– Хватит! – решительно говорит Марика. – Хватит про Сумерки богов! Хватит про бедного окровавленного Бальдра! Расскажи лучше про руны.

И Бальдр вновь заводит нараспев, словно скальд, исполняющий сагу собственного сочинения:

Руны победы,
коль ты к ней стремишься, —
вырежи их
на меча рукояти
и дважды пометь
именем Тюра!

Руны прибоя познай,
чтоб спасти

корабли плывущие!
Руны те начертай
на носу, на руле
и выжги на веслах, —
пусть грозен прибой
и черны валы, —
невредимым причалишь.

Познай руны мысли,
если мудрейшим
хочешь ты стать!
Хрофт разгадал их
и начертал их,
он их измыслил
из влаги такой,
что некогда вытекла
из мозга Хейддраупнира
и рога Ходдрофнира...

– Милостивый Боже! – почтительно шепчет Марика, когда он умолкает. – А кто они такие, эти Хфрорр... Хрофф... Хейдр...

– Хрофт, Хейддраупнир, Ходдрофнир, – со смехом поправляет Бальдр. – Кто они, я забыл. А может, и не знал никогда. Наверное, какие-то боги или герои. Да ладно, что в них проку? Стихи я помню, но как выглядят руны?.. Может, тебе и впрямь в библиотеку сходить, если тебя все это так уж заинтриговало?

– Вот кто бы нам тут пригодился – мой кузен Алекс Вяземский, – вздыхает Марика. – Я тебе рассказывала, что дядюшка Георгий преподает семиотику в Римском университете? Алекс сначала думал идти по его стопам, причем интересовался именно руническим письмом. А потом бросил все это и поступил на медицинский факультет. Увлёкся стоматологией, ты представляешь?! Но медицине он учился не в Риме, а в Сорбонне, вместе с моим братом Ники, и, когда началась война с рейхом, был призван во французскую армию. Ну и, конечно, разделил ее участь... Слава Богу, Алекс не погиб, а только попал в плен. Он содержался в концентрационном лагере сначала во Франции, потом в Бельгии, а недавно оказался под Дрезденом. Ники написал мне из Парижа буквально месяц назад, и я сразу стала хлопотать о пропуске, но пока еще его не получила, хотя, говорят, мне его все же дадут. Было бы отлично! Я бы тогда не только с Алексом повидалась, но и показала бы ему этот рисунок.

– Слушай, – возмущенно говорит Бальдр. – Мне скоро уходить. А мы целый час, наверное, потратили на разгадку какого-то бессмысленного ребуса. Все утро у нас ушло на него, а не на то, чем следовало бы заниматься!

– Чем следовало, мы и так занимались целую ночь, – ласково проводит пальцем по его плечу Марика. – Неужели тебе мало?

– Мне тебя всегда мало! – Бальдр тянется к ней так жадно, словно и не было ночи, которая вымотала обоих почти

до бесчувствия. — Я люблю тебя. Мне жалко каждого взгляда, который ты бросаешь не на меня. И эта несчастная бумажонка, вся эта глоссолалия или как ее там...

— Так уж и глоссолалия! — недовольно говорит Марика. — Ты же сам только что так убедительно все прочел: про несчастья для евреев, про американские самолеты и так далее.

— Хочешь, я тебе все это прочту совершенно иначе? — иронически косится на нее Бальдр. — И получится не менее убедительно.

Он берет в руки листок с рисунком и мгновение смотрит на него. А затем очень серьезно «расшифровывает».

— Пожалуйста!



— это тринадцать евреев, которые темной ночью (летучая мышь — символ ночи) пошли на кладбище. Лежащий человек — конечно же, мертвец со вспоротым животом, выколотым глазом и одной рукой, в этой руке у него лопата, которой евреи вырыли клад, обозначенный здесь символом доллара. На кладбище они распугали птиц, пока шарахались среди деревьев, пытаясь скрыться. На птичий крик сбежалась стража, троих евреев поймали и повесили, души их вознеслись к небесам, а остальные евреи, пока спасались бегством, повалили кресты, сломали кладбищенские елки, но их все-таки задержали доблестные солдаты фюрера, за что эти солдаты

были награждены Железным крестом, а потом, в постскрип-
туме...

Бальдр вдруг осекается.

– Что, заело? – ехидно спрашивает Марика, которая не знает, смеяться ей или злиться над тем, что несет Бальдр.

Да, они крепко завязли в расшифровке. В самом деле, предположить можно все, что угодно, от самого страшного до самого смешного. Марика вспоминает «Записки Пиквикского клуба» Диккенса, любимую книгу отца. Судья спрашивает какого-то человека, пишется его имя через V или W. А тот отвечает, что это зависит исключительно от фантазии того, кто пишет. Так и здесь. Все дело в фантазии...

Вдруг Бальдр, который только что обнимал ее и нежно, чуть касаясь, целовал ее плечи, отводит руки, отстраняется и садится прямо. Лицо его бледнеет.

– Что с тобой? – в тревоге приподнимается Марика.

– Сам не знаю, – отвечает он не сразу. – Что-то в холод вдруг бросило. Слышала такое выражение: «Кто-то только что прошел над моей могилой»?

– Никогда не смей говорить таких вещей! – яростно выкрикивает Марика. – Накличешь!

– Я вспомнил! – не слушая ее, говорит Бальдр. – Я вспомнил, что в Морской сигнальной системе означает красно-белый шахматный квадрат! Не понимаю, как я мог забыть, вот балда! Это не просто буква U – Uniform. Это совершенно определенный сигнал: «Вы идете навстречу опасности!»

Марика тоже резко садится и смотрит в глаза Бальдру. Она чувствует, что ее знобит, и видит, что плечи Бальдра покрылись такой же гусиной кожей, как и ее плечи.

Вот это да! Ему холодно или страшновато? Или, так же как ей, и холодно, и страшновато? Да нет же, Бальдр просто не способен бояться... Хотя звучит, конечно, внушительно: «Вы идете навстречу опасности!» Неужели профессор хотел кого-то предупредить? Кого?

Марика в очередной, уже, наверное, в тысячный раз смотрит на листок – и вдруг ей приходит в голову, что знак



может быть не только обозначением планеты Меркурий. А если он – человеческое имя? Тогда сочетание «шахматного квадрата» с ним можно прочесть так: «Вы идете навстречу опасности, Меркурий!»

Кому адресовалось предупреждение? Хорстеру? Нет, его зовут Рудгер Вольфганг или «просто Рудгер». Или это не обращение, а подпись? Тогда постскрипtum читается иначе: «Вы идете навстречу опасности. Меркурий».

Как зовут Торнберга? Неизвестно! Кого подстерегает опасность? Неизвестно и это. А как хочется узнать... Как хочется! Кажется, никогда в жизни Марику так, как сейчас, не раздирало на части любопытство. Она почти в отчаянии от того, что не может проникнуть в смысл рисунка. Почему он

вдруг стал ей так важен? Марика не знает. И не знает, нужна ли ей расшифровка. И все же...

Предупреждение Торнберга, конечно, не имеет отношения к ней. Да и вообще, попытка истолковать значение черно-белого квадрата именно так, как предлагает Бальдр, – натяжка. Скорее всего, и цвет квадрата ничего такого не значит, и вообще набор знаков на листке совершенно бессмыслен. Торнберг просто-напросто оригинальничал перед благодарной аудиторией, рисовал, что рисовалось. И нечего Марике забивать голову всякой ерундой, а заодно – морочить голову Бальдру. Думать надо не о каких-то там невнятных закорючках, а о том, что ему пора в полк, а ей в министерство, что они опять прощаются, не зная, когда увидятся снова. Может быть, выбросить бумажку, чтобы Бальдр был спокоен? Или даже сжечь на газовой горелке?

Сказано – сделано!

Марика уже протягивает руку, чтобы беспощадно скомкать листок, изорвать в клочки, как слышит стук в дверь. Кто бы это мог быть?

Она вскакивает с постели, подхватывает с пола халат, сует руки в рукава, затягивает пояс и открывает дверь коридор.

– Кто там? – кричит она с порога.

– Почта, – доносится старческий голос. – Фрейлейн Вяземски, вам посылка из Парижа!

Марика оглядывается на безмятежно сидящего Бальдра. Глаза у нее становятся растерянными.

В чем дело? Бальдр не понимает ее замешательства. В Париже живет Ники Вяземский, брат Марики, Бальдр с ним знаком. Отличный парень, как же прекрасно, что он прислал сестре подарок! Будет неплохо, если в посылке окажется какая-нибудь обновка, что-нибудь, что способно усладить нежное женское сердце, – платье, чулки, шляпка...

Шляпка?

Теперь Бальдр смотрит на Марику так же растерянно, как и она на него. Он вспомнил ее рассказ о том, что профессор Торнберг там, в метро, предсказал: скоро Марика получит из Парижа новую шляпку взамен потерянной. Неужели...

Глупости. Профессор сказал так, чтобы утешить Марику. Сейчас она возьмет посылку, откроет ее, и там окажется что-нибудь другое. Например, какие-нибудь конфеты, или модные журналы, или в самом деле чулки... Да что угодно, а все не шляпка!

Марика выходит в коридор. Бальдр слышит, как она разговаривает с почтальоном, благодарит за любезность, а тот что-то бубнит в ответ: мол, услужить такой очаровательной фрейлейн для него – истинная радость.

Конечно! Услужить – и получить хорошие чаевые. Марика – известная транжира...

Но вот почтальон уходит, Марика запирает входную дверь и возвращается в комнату, держа перед собой большую картонную коробку. Судя по всему, коробка довольно легкая...

Марика прислоняется к притолоке и смотрит на Бальдра

почти испуганно.

– Он уверял, что это будет зеленое сомбреро с черными лентами, – произносит она нерешительно. – Посмотрим?

Бальдр кивает. Масса новых ощущений пришла в его жизнь вместе с Марикой! Он впервые узнал, что такое любить, что такое – испытывать счастье, обладая возлюбленной... Он попытался учить русский язык, он впервые в жизни занимался разгадыванием каких-то бессмысленных шифровок в постели, вместо того чтобы заниматься любовью. И уж точно впервые в жизни Бальдр фон Сакс, военный летчик-истребитель, гроза англичан, гордость рейха, кавалер ордена Железный крест, с каким-то патологическим любопытством заглядывает в дамскую шляпную картонку!

Сладковато пахнет духами. Шелковисто шуршит белая оберточная бумага, которую нервно разворачивает Марика. А под ней... Марика осторожно достает что-то невероятно широкополое, невероятно зеленое, с широкими черными лентами.

Сомбреро! Это и в самом деле зеленое сомбреро!

Марика смотрит на прикрепленную к шляпе этикетку и читает вслух почти с отчаянием в голосе:

– «Madame Rose. L'atelier de chapeau...»¹⁰

¹⁰ Шляпная мастерская мадам Роз (фр.).



– Лотта, скажи, пожалуйста, ты не знаешь какого-нибудь человека по имени Меркурий?

Лотта Керстен устало смотрит на Марику:

– Ты меня сегодня уже спрашивала об этом. И вчера спрашивала...

И правда! Со вчерашнего дня Марика задала этот вопрос чуть ли не сотне человек, немудрено, что начала повторяться. Кажется, в министерстве не осталось никого, кого девушка не спросила бы, знает ли он какого-нибудь Меркурия. И все напрасно. Впрочем, нет: она не спрашивала у часовых возле подъезда и у двух охранников-эсэсовцев, которые, каменно стиснув челюсти, дежурят перед кабинетом Шталера. Самого Шталера, понятное дело, она тоже не спрашивала (с большим удовольствием заговорила бы с его овчаркой!), а еще – своего непосредственного начальника, Адама фон Трота. На самом деле фон Трот возглавляет отдел «Свободная Индия», в котором готовят провокационные материалы для поддержки возмущения индийцев английскими колонизаторами, однако по совместительству он курирует и фотоархив министерства. Фон Трот – обаятельнейший, милейший человек. У него с Марикой наилучшие отношения, поскольку он в детстве, в 1910 году, бывал в России и до сих пор вспоминает ее с удовольствием. Марика для него – одно из

таких напоминаний, и она непременно спросила бы фон Трота насчет Меркурия тоже, однако фон Трот куда-то уехал и не показывается уже второй день. Ну ничего. Сегодня он вернется, и Марика его непременно спросит. А может быть, не только про Меркурия, но и про Рудгера Вольфганга Хорстера. Вдруг фон Трот знаком с ним? Он знает невероятное количество людей!

А может быть, Лотта тоже что-нибудь слышала об Хорстере? Спросить?

– Лотта, а ты не... – начинает Марика, но тут же осекает. Нет, не стоит. Не стоит упоминать этого имени. Вообще чем реже она будет думать об этом не то гестаповце, не то эсэсовце, к тому же женатом, да еще и по расчету, тем лучше для нее! Но надо же как-то закончить фразу. И она продолжает: – Ты не обратила внимания на мою новую шляпку?

Звучит довольно неуклюже, ну да ладно. Кстати, странно, что Лотта и впрямь до сих пор никак не отреагировала на то, что подруга второй день является на работу в замысловатом, прямо-таки экзотическом сооружении на голове. Все остальные девушки (да и мужчины, судя по их взглядам) в восторге от шляпки, хоть одна или две зануды из общего отдела процедили, что, мол, подобная экстравагантность неуместна в столь серьезном учреждении. Но это они из зависти. Конечно, из зависти! Марика, впрочем, и сама понимает, что шляпка слишком уж... бойкая, скажем так, и еще вчера успела-таки навестить знакомую модистку (к счастью, ателье сто-

ит неувредимое, даже стекла целы!) и заказала нечто более скромное, чем зеленая феерия из Парижа, которую она пока вынуждена носить, потрясая всех встречных и поперечных.

Всех, кроме Лотты Керстен!

— А что, у тебя новая шляпка? — равнодушно произносит она. — Да, в самом деле, очень хорошенькая.

Учитывая, что Лотта при этом стоит спиной к Марике и даже не смотрит в сторону вешалки, на которой висит шляпка, ее мнение можно считать весьма основательным!

Лотта уже второй день выглядит и ведет себя как-то странно. Марика была так взбуждана собственными приключениями в метро, расшифровыванием записки и, конечно, столь эффектным появлением потрясающей парижской обновки, что только сейчас обращает внимание на состояние подруги. Да она просто сама не своя! Глаза окружены темными тенями, губы горестно сжаты, миленькое круглое личико осунулось. Марика слышала краем уха: кто-то говорил, что вчера с вокзала Грюневальд в вагонах для скота была увезена в концентрационный лагерь чуть ли не последняя партия берлинских евреев. Если кто из них и остался в городе, то лишь нелегально. Да, и еще рассказывали, будто еврейское кладбище в Вайсензее разорено. Теперь ни жить этим беднягам нигде, ни умереть... А мать Лотты? Как она? Неужели ее тоже увезли?!

Как бы спросить поделикатней? Господи, что же за эгоистка ты, Марика! Легкомысленная эгоистка! Думаешь только

о шляпках да о женатых мужчинах, а в это время твоя подруга...

Звонит телефонный аппарат, и Лотта срывается с места. Подскакивает, хватая трубку:

– Алло! Алло! – И тут же сникает: – Фрау Церлих? Да, я сейчас приглашу ее...

Она молча передает трубку немолодой даме, сидящей за пишущей машинкой, и, еще больше помрачнев, выходит за дверь.

Марика, не на шутку встревожившись, выскальзывает следом.

Лотта с преувеличенным вниманием смотрит в окно. Пальцы ее нервно стучат по подоконнику.

– Лоттхен, что случилось? Ты сама не своя. Что-нибудь с твоей мамой, Господи помилуй?

Лотта отвечает не сразу, и Марика понимает, что та пытается подавить слезы, которые не дают говорить.

– С мамой пока все в порядке, – говорит наконец Лотта, выделяя голосом слово «пока». – Просто я... я очень волнуюсь за одного человека. Это мой... друг, – добавляет она с запинкой. – Он пропал три дня назад, и я не понимаю, что с ним случилось. Он мне не звонит, хотя раньше звонил домой чуть не каждый день, и вообще мы часто виделись. Мама сейчас дежурит у телефона, она тоже волнуется, и если бы... она бы сразу сообщила мне...

Голос Лотты обрывается коротким рыданием, и Марика с

изумлением смотрит на ее вздрагивающие плечи.

Вот это да! Они с Лоттой близкие подруги, однако Марика впервые слышит, что в ее жизни был какой-то мужчина. Он звонил Лотте чуть не каждый день, они встречались, и, судя по заминке перед словом «друг», это были не просто дружеские встречи, а романтические свидания. Уж Марика-то знает толк в таких вещах!

Боже мой! Она просто слепая курица, если не заметила, что у подруги любовная связь! Когда у Марики начался роман с Бальдром фон Саксом, о нем мгновенно узнали все ее знакомые, в том числе и Лотта. Ну, строго говоря, Марика и сама не делала из этого никакой тайны и водила Бальдра на все вечеринки и дружеские застолья, куда бы ее ни приглашали. Но Лотта всегда приходила одна. И связь эту, и все свои переживания она держала в тайне... Ах ты молчунья, скрытница!

И вот теперь ее возлюбленный исчез. Понятно, Лотта боится, не попал ли он под бомбежку. Марика тоже с трепетом ждет звонков Бальдра: невредимым ли вернулся из полета и вообще – вернулся ли? И если он долго не дает о себе знать, названивает в штаб его полка или его родителям. Почему бы Лотте не поискать своего любовника, а не сидеть и ждать у моря погоды?

– Позвони ему сама, – советует Марика, но Лотта качает головой:

– Не могу. Нарушена связь, и ее никак не восстановят.

– Лоттхен, а если сходить к нему домой? – осторожно предлагает Марика. – Может быть, он просто болен, поэтому не дает о себе знать. Хочешь, я пойду с тобой? В любое время, хоть сегодня, сразу после работы!

Бальдр сегодня определенно не появится у нее. Самое раннее – через неделю, даже дней через десять, поэтому она может свободно распоряжаться своим временем. Но Лотта уныло качает опущенной головой:

– Ты не понимаешь, Марика. Я... я не могу пойти к нему. Это совершенно невозможно. Я могу только ждать. Но у меня нет сил, просто нет сил выносить эту пытку!

И она вдруг разражается рыданиями.

Марика стоит столбом. Ничего себе! Она даже не подозревала, что веселенькая и, если честно, легкомысленная Лотта способна так страдать, так любить! Но если Лотта столь сильно мучается, почему все же не пойти домой к этому мужчине? Плунуть на гордость, на приличия... Стоп, а если он женат? Тогда все понятно... Да, ужасно неприятно! Как же угораздило Лотту влюбиться в женатого человека?!

В конце коридора громко хлопает дверь, и раздается цокот каблучков. Марика оглядывается – к ним приближается Гундель Ширер, секретарша Адама фон Трота.

– Фрейлейн Вяземски, зайдите ко мне в приемную, пожалуйста. Нужно расписаться в почтовом журнале. У меня для вас письмо из управления внутренних дел. Разрешение на посещение французского военнопленного Александра Вя-

земски в концентрационном лагере «Шпрее». Это ваш брат?

– Всего лишь кузен, моя дорогая Гундель, но я его ужасно люблю! – Марика не может удержаться, чтобы не захлопать в ладоши. Все беды Лотты мгновенно забыты. – Боже мой, значит, мне все-таки дали разрешение! А я-то начала беспокоиться, хотя герр фон Трот уверял, что все будет хорошо...

– Он хлопотал за вас, – поясняет Гундель с восторженным видом. Все министерство знает, что она обожает своего начальника, натурально боготворит его. – Хлопотал, и даже сам сегодня привез ваш пропуск.

– Герр фон Трот вернулся? – оборачивается от окна заплаканная Лотта. Гундель открывает было рот, чтобы воскликнуть жалостливо: «Что с вами, фрейлейн Керстен?!» – но натывается на предостерегающий взгляд Марики и умолкает, догадавшись, что ничего нельзя говорить. И покорно слушает: – Прошу вас, Гундель, узнайте, сможет ли он меня принять, причем как можно скорее. Скажите, что это... это касается той красной папки, которую он мне давал.

Марика втихомолку вскидывает брови. Они сидят с Лоттой в одном кабинете, их столы стоят рядом, но Марика не видела у нее никакой красной папки! Судя по обескураженному виду Гундель, для нее красная папка тоже полная неожиданность. Ведь именно через Гундель передаются сотрудникам отдела бумаги для работы, она ведет их учет. Но, как ни озадачены обе девушки, они молчат. Строго говоря, это не их дело. И вообще, может быть, они чего-то не знают.

– Конечно, я спрошу его, – соглашается Гундель. – Пойдемте со мной, девушки. Я отдам фрейлейн Вяземски ее письмо, а вы, фрейлейн Керстен, подождете. Вдруг герр фон Трот сможет принять вас немедленно?

Так оно и происходит, и пока Марика расписывается в почтовой книге Гундель, а потом внимательно изучает пропуск, все еще не слишком-то веря в удачу, Лотта проходит в кабинет фон Трота. И буквально через три минуты после того, как за ней закрывается дверь, начинает прерывисто мигать красная лампочка на одном из телефонных аппаратов, стоящих на столе Гундель. Этот аппарат – параллельный тому, который стоит в кабинете начальника отдела. Очевидно, Адам фон Трот кому-то звонит. Марика недоумевает: почему он не попросил секретаршу дозвониться и соединить его, а тратит время сам? Да ладно, ей-то какая разница? Главное, пропуск к Алексу у нее в руках!

Марика потратила столько сил, чтобы добиться его, а теперь вдруг начинает чего-то опасаться. Ну что же, у нее есть для этого причины, только она предпочитает думать не о них...

Марика все еще стоит около стола Гундель, когда дверь из приемной открывается, и на пороге появляется Адам фон Трот, поддерживающий под руку Лотту. При виде ее Марика и Гундель в один голос громко ахают: Лотта бледна, как смерть, ее лицо заплаканно, она еле стоит, и, чудится, не держи ее начальник так крепко, она повалилась бы без чувств.

– Дорогая Гундель, прошу вас, срочно вызовите мою машину, – отрывисто говорит фон Трот. – А вас, фрейлейн Вяземски... кстати, здравствуйте, мы еще сегодня не виделись, очень рад, что вам дали пропуск к вашему кузену... попрошу проводить фрейлейн Керстен домой. У нее... у нее случилось несчастье в семье, и она вряд ли сможет сегодня работать. Поэтому...

Какое еще несчастье в семье?!

Гундель бросается к телефону и звонит в гараж, а Марика приобнимает полуживую Лотту. Фон Трот немедленно уходит в кабинет. У него угрюмое, усталое лицо, словно разговор с Лоттой его невыносимо утомил.

Несчастье в семье... Марика догадывается, зачем Лотта попросилась на прием к начальнику. Красная папка была только предлогом. Она ворвалась в кабинет шефа, чтобы попросить его выяснить, что случилось с ее возлюбленным! Марика ничуть не сомневается. Она просто-таки чувствует это. Наверное, друг Лотты – кто-то из знакомых фон Трота, шеф в курсе ее романа. А впрочем, он для всех своих сотрудников вроде ангела-хранителя и наставника, так что неудивительно, что Лотта кинулась за помощью именно к нему. Очевидно, он воспользовался своими связями, чтобы получить какую-то информацию. Наверное, возлюбленный Лотты погиб при бомбежке... Господи, бедная девочка!

Марика молча ведет подругу к машине, молча усаживается рядом с ней на заднее сиденье и молчит всю дорогу. Ад-

рес Лотты дала водителю сама Гундель, так что разговаривать Марике нет никакой необходимости. Наверное, следовало бы выразить сочувствие, соболезнования какие-то высказать, но не поворачивается язык произносить общие слова. Она только иногда косится на помертвевшее лицо подружки и легонько пожимает ей руку. Та не отвечает, словно не чувствует этого. Наверное, так оно и есть: сейчас для Лотты вообще ничего не существует, кроме ее горя!

Лотта живет около Темпельхофа.

– Подождать вас, фрейлейн? – спрашивает шофер Марик, но она отказывается. Во-первых, неизвестно, сколько она пробудет у Лотты, а во-вторых, какой смысл сегодня возвращаться на работу, если у нее с завтрашнего дня трехдневный отпуск для поездки в Дрезден?

Лотта стоит у входа в подъезд так безучастно, словно ее привезли в какой-то чужой дом и она ждет, когда выйдут хозяйева и пригласят ее к себе. Марика берет ее за руку, как маленькую девочку, и ведет вверх по лестнице на второй этаж. Звонит в дверь, и на пороге возникает фрау Керстен – кругленькая, пухленькая, смугленькая, словно шоколадный кекс «Мой маленький медвежонок». Эти пирожные она, кстати сказать, печет совершенно непревзойденно, нигде, ни в какой кондитерской, Марика таких не пробовала. Все дело в ванили и лимонной цедре, конечно, которые фрау Керстен щедро добавляет в тесто... Лотта совсем не похожа на мать. Она типичная Гретхен. Видимо, пошла в отца, который, судя

по фотографиям, был просто-таки образцом арийца. И как это его угораздило жениться на еврейке? Видимо, очень любил шоколадные кексы. Недаром он умер от диабета...

Марика почему-то всегда пребывала в уверенности, что нравится фрау Керстен (та ей тоже в общем-то нравилась, несмотря на происхождение), ее в этом доме всегда встречали очень приветливо. Но сейчас хозяйка на гостью даже не смотрит.

– Лоттхен! – восклицает она, едва распахнув дверь. – Мне звонил герр фон Трот. Он сказал...

– Мама! – со стоном произносит Лотта. – Это правда! Это правда! Все пропало!

Фрау Керстен прижимает руку ко рту, и они с дочерью молча смотрят друг на друга, как если бы от горя лишились дара речи. Но Марика вдруг понимает, что они молчат вовсе не потому, что так сильно потрясены, – они не хотят говорить при постороннем человеке. А посторонний человек в данном случае – она, Марика, ближайшая подруга Лотты!

Ничего себе ближайшая...

Она торопливо прощается и бросается вниз по лестнице так стремительно, словно ее выгнали из квартиры пинками. Никто, конечно, ее не гонит, однако никто и не пытается удержать даже из вежливости. Фрау Керстен так и не сказала ей ни слова, ни полслова. А Лотта, лишь только захлопнулась дверь, начинает рыдать до того громко и отчаянно, что Марика слышит звуки ее рыданий и внизу, на первом этаже.

И даже когда выбегает на улицу, отчаянные, невнятные причитания Лотты продолжают звучать в ее ушах.

Она идет по тротуару как может быстро, жалея, что отпустила машину. Ее могли довести до дома, а теперь придется добираться на метро. После недавних приключений в метро Марику не тянет туда совершенно, даже подумать о подземке тошно. Хотя деваться некуда, конечно, придется ехать: ей нужно собрать вещи для поездки и еще зайти в мясную лавку – вдруг удастся купить какие-нибудь шницели, которые она отвезет Алексу.

Хотя насчет шницелей еще нужно подумать... Фрау Церлих из их отдела недавно рассказывала, что несколько дней назад, когда ее муж стоял в очереди у мясной лавки, он вдруг увидел, как через задний ход туда вносят ослиную тушу: он узнал ослиные копыта и уши, торчавшие из-под брезента. Ослиный шницель, конечно, экзотика, но вряд ли экстравагантность Марики – да и Алекса, если на то пошло, – распространяется столь далеко. Впрочем, фрау Церлих и совет – недорого возьмет. Ну а вдруг она правду говорит? Нет, лучше Марика купит для Алекса каких-нибудь морепродуктов, благо моллюски и ракообразные, включая такие «плутократические деликатесы» былых времен, как омары и устрицы, имеются в продаже в изобилии, без всяких карточек, притом что рыбу купить просто невозможно: ведь ловом никто не занимается из-за минирования прибрежных зон и подводной войны. Так же диковинно обстоят дела с вином. Приличного

пива нет совершенно, а французское вино и шампанское, в самой Франции распределяемые по карточкам, просто-таки наводнили рейх. Марики терпеть не может пиво и очень любит белое сухое вино, поэтому она ничего не имеет против таких неразгадываемых загадок снабжения...

При слове «загадки» настроение у Марики портится еще больше. С некоторых пор их стало в ее жизни слишком много, и они вовсе не столь безобидны, как упомянутые продовольственные странности.

Во-первых, «письмо из руки мертвеца», как назвал листок профессора, оказавшийся у «доктора», Бальдр. Во-вторых, сбывшееся предсказание Торнберга насчет шляпки. В-третьих, письмо брата, которое тот прислал вместе с нею...

От воспоминаний Марики начинает волноваться. Волнуясь, она всегда ходит очень быстро. Вот и сейчас пускается чуть ли не бегом и налетает на невысокую женщину в застиранном беленьком платочке.

– Прости, миленькая, Христа ради, – говорит женщина, испуганно оглянувшись на Марику, и та с изумлением обнаруживает, что слышит русскую речь. Впрочем, женщина тотчас повторяет на ломаном немецком: – Простите меня, фрау!

– Фрейлейн, – машинально поправляет Марику.

Женщина покорно повторяет свое извинение, кланяется и, заискивающе улыбнувшись напоследок, устремляется к большому собору, который открывается за углом. Это православный храм, к которому идут одна за другой женщины,

убогой одежкой и белыми платочками похожие на ту, которую толкнула Марика... А извинялась, между прочим, не она, а та женщина!

Наверное, это одна из русских работниц, которых теперь много стало в Берлине. Их в огромном количестве вывозят из оккупированных областей для работы на военных заводах или на сельскохозяйственных фермах. Кое-кого берут прислугой в немецкие семьи. Разумеется, никакой оплаты – только еда, более или менее сытная: в зависимости от достатка и добросердечия хозяев. Кстати, все знакомые Марики, у которых есть русские работницы, относятся к ним вполне патриархально, то есть именно что добросердечно, оценив их услужливость, трудолюбие. Русские горничные очень покладисты, безропотны, не то что немецкие. Они умеют все на свете, даже стекло вставят взамен выбитого взрывной волной, так что не надо ждать стекольщиков, которые сейчас нарасхват... Пожалуй, это самая популярная профессия в Берлине!

Да, наверное, женщина в платочке – одна из таких. Хозяйка к ней, конечно, очень расположены – на дневную службу в храм могут прийти только служанки, которым удалось отпроситься у хозяев. С заводской смены не больно-то уйдешь, да и на выход из казармы, где живут женщины, работающие на предприятиях, нужен особый пропуск.

Наверное, для русских пленниц православный храм – единственное место, где они могут почувствовать себя если

не дома, то хотя бы близко к нему...

Марика слабо улыбается: странно все это. Германия находится в состоянии войны с Россией, народ там уничтожается без жалости, разрушаются города, горят церкви. Вывезенные оттуда женщины – не более чем рабыни. Однако они имеют возможность ходить в Берлине в свой храм, в то время как некоторые граждане Германии, имевшие несчастье принадлежать к ненавидимой вождями рейха национальности, давным-давно лишились не только своих синагог, но и самого права на жизнь...

Глупо. Глупо и неразумно! Как можно уничтожать человека только за то, что он другой национальности или по-другому молится Богу! Бог – он ведь один. И уж если он создал русских, евреев, германцев, цыган, англичан, арабов или китайцев, то что-то имел при этом в виду! Для чего-то же он сделал именно так! И не людям, его созданиям, исправлять его поступки, словно Господь – неразумное дитя, а они, его творения, лучше знают, что надо делать. Люди сами затеяли войны – религиозные, национальные, и все на свой лад провозглашали: «Gott mit uns! С нами Бог!», как если бы получили от него какие-то верительные грамоты. Судить каждого человека надо по его конкретным поступкам, к какой бы национальности он ни принадлежал! Ведь даже сам министр пропаганды Геббельс говорит: «У каждого есть свой «хороший еврей»...»

За размышлениями Марика не замечает, как поднимает-

ся по ступенькам и входит в храм. Здесь тихо, прохладно и пахнет так сладко-сладко... Чуть слышно и неразборчиво, хотя и очень мелодично, поют три женщины в черном, стоящие на клиросе. Наверное, в воскресенье тут много народу, не протолкнуться, а сейчас на службу собрались редкие счастливицы.

Как давно Марика не была в храме! Многие эмигранты ходят в церкви не потому, что так уж сильно религиозны, а потому, что это место напоминает им Россию. Но Марика не чувствует особой ностальгии: ведь она почти не помнит родину. Если и тоскует, то только по Риге и по латышскому имени Вяземских. А религиозным никто в их семье никогда не был, ни родители, ни они с братом и сестрой. Еще когда родители и сестра жили в Берлине, они из чувства долга пытались исполнять какие-то обряды, а теперь, когда сестра вышла замуж и они уехали в Австрию... Марике некогда тратить время на стояние на церковных службах, да и не чувствует она потребности в общении с потусторонними силами. Достаточно с нее и людей! Но она понимает этих женщин, которые всеми правдами и неправдами выбрались в храм. Один этот аромат ладана способен успокоить. Правда, старые иконы в полутьме почти неразличимы...

Кстати, если уж она здесь, надо ли поставить свечку?

Марика оглянулась в нерешительности и услышала тихие всхлипывания. О Господи, ей, видно, на роду написано слушать сегодня чьи-то рыдания!

– Пойдем отсюда, Ганка, – бормочет сквозь всхлипывания девичий голос – конечно, по-русски. – Здесь все чужое. Не нравится мне тут. Небось у нас в Полтаве храм попросторней был, и лики там такие благодатные, такие родные! А тут не святые, а злыдни какие-то!

– Окстись, дура, – шептал сердитый голос, принадлежащий, судя по всему, женщине постарше. – Спасибо скажи, что есть Божий храм в Неме́тчине, что они, фашисты, не покрывали все, не пожгли, как у нас. А лики... Что лики? Они дело рук человеческих. Доски малеванные! Не обращай на них внимания, сердцем с боженькой и его пресвятой матушкой говори.

– Да что ж, глаза мне закрыть, что ли? – сердится девушка. – Это не иконы, а так, картинки, будто для забавы нарисованные, чтобы на них люди любовались, а не молились. Как это их в православный храм допустили? Вон даже Пресвятая Мать – какая-то девица с цветочком. Не матушка-заступница, а девчонка в кудряшках. Розочка-то тут при чем? И вот еще с тремя цветочками – Елизавета! Святой Павел, погляди ты, с саблей! Хоть сейчас в бой! А это кто? Разве это святая Катерина? Колесо при ней зачем?! Ехать куда-то собралась или как? А вот не поймешь, то ли это Варвара-великомученица, то ли святой Георгий с копьем, пронзающий змия? Да знаю, знаю я, какая Варвара на православных иконах-то! Воистину мученица! А это что? Зачем ей копьё? Ишь ты, воеводу нашли! Ладно хоть, святой Севастьян какой надо – весь

стрелами пронзенный!

– Ну и хорошо, ну вот и смотри на святого Севастьяна, – успокаивающе журчит голос старшей подруги. – А тех святых ты прости, их люди малевали. У них тут вообще-то и Катерина – не Катерина, а Катрин, Варвара – не Варвара, а Барбара... Да разве в именах, разве в обличье дело? Скажи спасибо, что есть храм, скажи спасибо, что можно прийти сюда, родимую речь послушать...

– Нет, не по нраву мне тут! – не унимается девушка.

Слушать ее брюзжание у Марики больше нет сил. От запаха ладана, который сначала показался таким приятным, начинает ломить в висках. Она поспешно выходит. Может быть, и настанет время, когда Марика будет искать прибежища и утешения только у Бога, но... Но пока оно еще не настало, и пусть лучше не настает как можно дольше!

Ей ужасно хочется есть, но в тех двух или трех ресторанчиках, которые попадаются по пути, нет никакого выбора – подают только безвкусную похлебку. Оказывается, сегодня Eintopftag, «день одного блюда», соблюдаемый по приказу рейхсфюрера раз в неделю. Теперь «законы одного дня» очень популярны. Еще в августе сорокового был издан указ, предписывающий принимать ванну только по субботам или воскресеньям. Все сотрудники АА по очереди умудрялись обходить его, украдкой моясь в ванной в самом министерстве. Да и Eintopftag в столовой АА не слишком-то соблюдается. Но обеденный перерыв на работе Марика уже пропу-

стила. Трудно поверить, что еще недавно Берлин называли всемирным центром чревоугодия! Теперь же голову сломаешь, прежде чем найдешь, где можно нормально поесть. Поехать, что ли, в итальянский ресторанчик на Курфюрстендамм – вдруг удастся поесть настоящую пасту с томатом или сыром? Раньше там даже талонов не спрашивали... А вдруг и итальянские заведения теперь подпадают под общую грёбенку? Лучше не рисковать и не терять времени. Надо все-таки купить продукты для Алекса, собрать вещи и решить, как одеться завтра в поездку.

Надевать чулки или нет? Брать зонтик? Что надеть сверху, плащ или все-таки пальто? Говорят, должно грянуть похолодание...

Одно Марики точно известно: ехать придется вот в этой самой шляпке-сомбреро из Парижа. И не потому, что нет ничего другого. В посылке обнаружилась еще и записка от Ники, который вскользь рассказывал о своем житье-бытье, выражал надежду, что у Марики все хорошо, звал ее в Париж, когда только выдастся возможность, но в основном просил, умолял, заклинал, требовал навестить кузена Алекса и отправиться в нему НЕПРЕМЕННО!!! (слово было написано огромными буквами, жирно выделено, дважды подчеркнуто и снабжено тремя восклицательными знаками) в новой шляпке.

И снова наваливаются на Марику уже притихшие было кровопийцы-загадки...

Откуда, ну, ради всего святого, откуда профессор Торнберг знал о шляпке?! Не ясновидящий же он, в конце концов!

Единственное толковое объяснение предложил Бальдр — через пять минут после того, как утихли испуганные, изумленные восклицания Марики. Объяснение было такое: Торнберг знаком с Ники. Недавно он был в Париже и слышал, что тот купил шляпку сестре. Или даже видел обновку, поэтому так лихо ее описал. Возможно, он также видел у Ники фотографию сестры Марики. Кроме того, Хорстер в метро представил ее профессору. И тот немедленно догадался, что она — та самая сестра, но виду не подал, хитрец, а разыграл ее, причем очень тонко.

Замечательное объяснение. Правда, порождающее множество новых вопросов. Например: просто ли знаком Ники с этим странным и пугающим профессором или замешан в каких-то его странных и пугающих делах?

И образ Вернера, нанизанного на тонкую и длинную трубу, напоминающего насекомое, пригвожденное к страничке альбома безжалостным энтомологом, снова и снова тревожит память Марики...

Берлин, 1935

«Если это выдержал Пауль, значит, выдержу я».

Шестьдесят человек. Тридцать с одной стороны, тридцать с другой. Между ними расстояние по метру. Шаг – вдох. Потом – хлесткий удар, который вышибает воздух из легких.

Шаг – вдох, шаг – выдох.

Тренировка дыхания.

Не думать о боли. Думать, что ты тренируешь дыхание!

Люди одеты в черное. Он отчетливо помнит, что люди были одеты в черное! Почему теперь кажется, что они все в красном?

Это обман зрения.

Пот заливает глаза, пот, а не кровь. По лицу его не бьют – почему?

«Возьмите этого красавчика! – сказал громила, который расставлял людей в черном по двору, стараясь строго соблюдать расстояние между ними точно в метр. – Возьмите этого красавчика и сделайте из него шницель по-берлински!»

После того как он прошел всю шеренгу, на его голом теле осталось тридцать кровавых полос. Еще хорошо, что бьют по очереди, чтобы не задеть плетьюми друг друга...

«Если это выдержал Пауль, значит, выдержу я».

– Кругом! – сквозь мучительный гул в ушах доносится до него чей-то голос. – Ты, скотина! Тебе сказано! Ты не слы-

шишь? Не понимаешь? Кругом!

Он слышит. Он понимает, что означает команда: нужно повернуться – и снова пройти сквозь строй. Еще тридцать ударов плетью. Ему назначено девяносто...

Помнится, когда он выслушал приговор, его губы расплылись в недоверчивой улыбке: что за цифра такая смешная, девяносто ударов? Почему не сто, для ровного счета? Теперь он понимает почему. Тридцать умножить на три – получится девяносто, и ни одним ударом больше. Да здравствует пресловутая немецкая педантичность!

Резкий, четкий поворот через левое плечо.

– Шагом марш, скотина!

Он делает шаг вперед – удар.

Шаг – передышка.

Шаг – удар.

«Ничего. Пока я еще держусь на ногах. Дыхание срывается, да. Это понятно. Это понятно! Это...»

Десять шагов.

Он стал различать новый звук. Воздух визжит. Когда человек в черном взмахивает плетью, она режет воздух, и воздух визжит. Воздуху больно.

Двадцать шагов.

Воздуху... больно...

– Кр-р-ругом!

«Неужели я уже прошел? Прошел второй раз? Остался один проход. Осталось тридцать ударов. Я это выдержу. Ес-

ли уж Пауль... Я выдержу! Сейчас я повернусь – и...»

Он стоит, пытаясь хоть что-нибудь увидеть сквозь холодный пот, заливающий глаза.

«Почему мне холодно? Мне должно быть жарко!»

– Кр-р-ругом!

Медленный поворот через левое плечо.

– Шагом марш, скотина!

Шаг – два удара.

Шаг – передышка.

«Я не чувствую ног. Это плохо. Я не должен упасть. Если упаду, затопчут, как затоптали Марка. У них подкованные сапоги. Говорят, на их сапоги нарочно набивают тяжелые железные подковы. Я не упаду. Если это выдержал Пауль, значит, выдержу я».

Шаг – передышка.

Шаг – два удара.

«Шницель по-берлински... Кто не знает, как выглядит шницель по-берлински? Посмотрите на меня, и узнаете!»

Сколько еще осталось? Он давно перестал считать шаги. Иссеченное тело уже не чувствует боли.

«Не упасть. Только бы не упасть! Я... дойду. Я выдержу. Потом... все не важно. Если выдержал Пауль... Как он мог это выдержать?!»

– На месте раз-два! – громовой хохот. – Стой, дубина. Ты выдержал, ты жив. Хорошо бы тебя сейчас посыпать солью! Твое счастье, что мы не палачи. Мы только исполняли при-

говор. А теперь ползи отсюда, ободранный червяк! Ползи, пока цел!

«Я не червяк! Я не поползу!»

– Ты что, не слышишь? Конец!

«Я не червяк!»

– Кру-гом! – хрипло командует избиваемый. – Шагом марш! Круг почета!

И снова идет сквозь строй.

– Секите меня! Ну? Секите! Иду на круг почета!

Мгновенная изумленная передышка, и снова в воздухе за-свистели плети.

Удар, удар, удар, удар... нет больше передышки. Его бьют так жестоко, как не били даже раньше.

«Я не упаду. Я не...»

Тогда он не упал. Он остался жив. Но чуть ли не каждую ночь ему снится, что он все-таки не удержался на ногах, что упал, и его забили сапогами насмерть. А потом говорили с насмешкой:

– Дурак, он сам напросился!

А его последней мыслью было: «Пауль выдержал, а я не смог!»

Но это всего лишь ночной кошмар.

Берлин, 1942

– Слушай, – шепчет Марика, почти не размыкая губ, – по-моему, он сейчас начнет вытирать слезы умиления. Тебе не кажется?

– Ничуть этому не удивлюсь! – бормочет в ответ Алекс, точно так же еле шевеля губами – соблюдая конспирацию. – Дело в том, что я сказал ему, будто мы с тобой влюблены друг в друга.

Алекс, чертов Алекс! Это не родственник, а проклятие какое-то! Как он донимал ее мальчишкой, так и через двадцать лет донимает.

– Ты сдурел? – чуть не вскрикивает Марика. Какое счастье, что комендант лагеря не понимает по-русски!

– Ты его просто не знаешь, а у него очень романтическая натура. Если бы я сказал, что ты самая обыкновенная двоюродная сестра, он нас не выпустил бы из комнаты для свиданий при своей канцелярии. Да еще и охранники бы то и дело к нам заходили. А так... Просто ложь во спасение.

Надо признать, да, именно что во спасение. Ни на что подобное и надеяться нельзя было.

Марика измучилась, пока добралась до Дрездена. Пустяковый в общем-то путь занял почти десять часов, потому что расписание после очередного налета переломалось вдребезги. Пришлось подкреплять угасшие силы тем, что поне-

множку отхлебывать вина, приготовленного для Алекса, так что литровая фьяска¹¹ стала весить к вечеру несколько меньше.

Марика оказалась в Дрездене уже около восьми вечера, ни о какой поездке в лагерь (два часа на автобусе от города), конечно, и думать было нечего. Ночь Марика провела в какой-то гостиничке, где оказалось невыносимо душно: хозяйка сурово запретила открывать окна, заклеенные крест-накрест бумажными полосами (чтобы стекла не выпали при бомбежке), и содержимого в бутылке осталось еще меньше: очень болела от духоты голова, надо было лечить. Благодаря лечению Марике удалось заснуть, и вскочила она за полчаса до отхода автобуса только чудом.

Еле-еле успев умыться, собраться, добежать до автовокзала и сунуть под нос избыточно придиричивому полицейскому пропуск, она плюхнулась на последнее оставшееся свободным сиденье и всю дорогу поедом ела себя за то, что такая растеряха, такая неорганизованная, даже единственного кузена толком не смогла навестить: приедет к нему зачуханная, растрепанная, урод уродом! Хорошо хоть, под шляпкой не видно, в каком состоянии у нее волосы – от укладки и следа не осталось. И вообще, счастье, что Алекс всегда был к своей кухне равнодушен как к девушке. В детстве он даже жалел, что Машуня (так он ее называл, и это имя было истинным

¹¹ Итальянская пузатая винная бутылка из темного стекла, обернутая соломкой.

проклятием для ее чувствительных ушек) не родилась мальчишкой: было бы кому скакать с Алексом верхом с утра и до вечера. А вот Ники с его идиосинкразией на запах лошадиного пота следовало родиться девчонкой, тихо играть в куклы, вплетать в косички разноцветные ленты, жеманничать и плакать по поводу и без повода...

И вот вам пожалуйста! Алекс сказал коменданту своего лагеря, что к нему едет любовь всей его жизни, с которой его разлучили жестокие родители, решившие, что брак между кузенами греховен. Такие браки разрешены как католической, так и протестантской церковью, а вот церковь православная относится к ним неодобрительно, так что не зря православную веру называют ортодоксальной. А ведь господин комендант не хочет прослыть ортодоксом?

Господин комендант этого явно не хотел. Поэтому, вволю насмотревшись на смущенную Марику своими увлажнившимися, чуточку навывкате голубыми глазами, изобличавшими в нем добродушного, сентиментального и не слишком-то далекого человека, он создал для встречи «влюбленных» самые что ни на есть комфортные условия.

Честно говоря, Марика представляла себе концентрационные лагеря несколько иначе. Об Освенциме, Бухенвальде, Равенсбрюке рассказывали ужасные, просто чудовищные вещи, которые вообще не укладывались в голове и которым не хотелось верить. Но, судя по тому размаху, с которым решался в рейхе еврейский (а заодно и цыганский) вопрос, судя

по той жестокости, с которой гитлеровская армия прошла по Польше и шла теперь по России, страшным рассказам следовало верить. А здесь, в этом тихом уголке под Дрезденом... Конечно, территория окружена колючей проволокой, и котеджами невзрачные бараки не назовешь, но в них чисто, в каждом отделении спят по пять человек, не больше, у каждого постельное белье, раз в неделю баня, никаких жутких полосатых одеяний, все ходят в старой военной форме, а если есть деньги, можно заказать в деревенской швейной мастерской костюм. Правда, по словам Алекса, костюмы там шьют такие, что лучше уж донашивать обветшалую форму. Зато обувь недавно выдали крепкую и довольно удобную, даже по размеру, – постарался Красный Крест.

Увидев расширенные от изумления глаза кузины, Алекс успевает шепнуть, чтобы Марика не обошлась: далеко не все французские военнопленные содержатся в таких комфортабельных условиях. Повезло лишь тем, чьи части сдавались без боя, повинувшись приказу маршала Петена, объявившего о капитуляции, ну а кто был взят с оружием в руках, с теми обращаются иначе, лагеря для них совсем другие. Здесь есть и англичане, и американцы, к которым относятся с особым пиететом, хотя это экипажи сбитых самолетов, они попали в плен, что называется, с оружием в руках; есть и русские – из числа сдавшихся добровольно. Поскольку Алекс знает и французский, и английский, и немецкий, и русский, он здесь трудится в основном как переводчик, хотя прихо-

дится помогать и в медпункте. Сюда, в лагерную больницу, уже привыкли обращаться жители окрестных деревень, потому что денег за медицинскую помощь тут не берут. Идиллия, словом!

Но настоящая идиллия начинается, когда комендант предоставляет Марике и Алексу для разговоров свой кабинет, а денщику велит приготовить «влюбленным» обед из привезенных Марикой продуктов: все-таки купленные пресловутые шницели таинственного происхождения, омары, устрицы, булочки и сыр, а также остатки вина, к которым комендант щедрой рукой добавляет полбутылки шнапса. Никто к нему, правда, не притрагивается, но все равно это мило! От себя комендант презентует также банку консервированного горошка и свежайший хлеб из лагерной пекарни, однако приглашения отобедать за компанию не принимает, уверяя, что ни в коем случае не хочет мешать влюбленной парочке беседовать. Марике показалось, что, попроси Алекс, комендант после обеда предоставил бы им собственную спальню, где они могли бы предаться греху!

Но поскольку предаваться греху ни у Марики, ни у Алекса нет желания, они вместо спальни получают разрешение погулять по окрестностям без охраны.

Окрестности оказываются самые живописные: поля, рощицы... Пока идут по дороге, мимо проезжают машины с немецкими военными, но никто не обращает внимания на девушку, которая идет под ручку с французским офицером

в форме. Марика не устает изумляться.

– Не переживай, – усмехается Алекс. – Нас, французов, здесь считают безобидными чудаками из-за нашей *drôle de guerre*¹². Ну как же, собственный маршал, народный герой – Петен ведь крестьянский сын, ты слыхала? – некогда побивший германцев под Верденом, приказал сдаться целой армии! Чего нас опасаться? Поэтому на меня и не обращают внимания. В компании с англичанином или американцем в форме ты привлекла бы значительно больше внимания. А уж с русским...

Наконец они сворачивают в рощу и остаются одни.

– Слушай, а из этого лагеря когда-нибудь бегут? – спрашивает Марика, усаживаясь под березкой на плед, выданный все тем же заботливым комендантом. Интересно, что подразумевалось, когда выдавался этот плед? – Мне кажется, наоборот: к его воротам должна тянуться длиннющая цепочка из военнопленных, желающих сделаться узниками!

– Не обольщайся, дорогая кузина, – усмехается Алекс. – Вся штука в том, что наш лагерь – образцово-показательный. Нечто вроде «образцово-показательного гетто» Терезиенштадт. Не слышала о таком? Туда время от времени привозят представителей Красного Креста, а контингент для «отсидки» выбирают строго по протекции. Одни только «хорошие евреи», как правило, представители аристократиче-

¹² Странная война (*фр.*). Такое название получила кратковременная защита Франции в 1940 году.

ских фамилий. Насколько я помню русскую историю, светлейший князь Потемкин-Таврический в свое время строил для матушки-Екатерины так называемые потемкинские деревни. Вот и у нас совершенно такая же потемкинская деревня. По сути, это пересыльный лагерь, откуда людей направляют в разные другие «места отдыха» при малейшей провинности. Задерживаются особо «благонадежные». Ну и полезные... Например, у нас есть один француз, мастер пластической хирургии. Он тут уже год, его очень ценят многие знакомые герра коменданта. Иногда его даже отпускают оперировать в Дрезден. Под охраной, конечно, но под весьма условной охраной. Мне он предлагает сделать мои оттопыренные уши более благопристойными. Как думаешь, может быть, согласиться?

– Ты смеешься? – недоверчиво спрашивает Марика.

– Да нет, отчего же? Я совершенно серьезен. Оттопыренные уши всегда осложняли мне жизнь... А вообще-то наш лагерь – такой же парадокс войны, как те омары, которые ты сегодня привезла. Но долго эта благодать не продлится. Чем крепче будет увязать германская армия в России, тем хуже будет всем нам. Появятся новые пленные – русские. И отношение к ним будет уже совершенно другое. О наших соотечественниках рассказывают поразительные вещи. Говорят, они сражаются не как солдаты, а как преступники. С точки зрения бошей, конечно. – Похоже, Алекс, прожив несколько лет во Франции, уже не может отвязаться от галлицизмов. –

Русские поднимают руки, делая вид, будто сдаются, а когда боши приближаются вплотную, они открывают по ним огонь в упор. Убивают всех, кого могут, даже стреляют в спину немецких санитаров, присматривающих за их же ранеными. Это, пожалуй, трудно понять, но русские беззаветно храбры и не сдаются без тяжелых боев. Разумеется, если этих берсеркеров удастся взять в плен, их отправляют в такие лагеря, что и представить страшно...

Алекс машет рукой, и на миг его веселое лицо, которое кажется клоунски-забавным из-за в самом деле сильно оттопыренных ушей, принимает усталое, измученное выражение. И вдруг он снова оживляется. Марика видит, что он с удовольствием разглядывает ее знаменитое сомбреро.

– Сногсшибательная шляпка, – говорит Алекс елевым голосом. – Просто убийственная! Клянусь, что в жизни не видел ничего подобного!

– Странно, что ты не сказал этого раньше, – улыбается Марика.

– Почему? А, ну, понимаю, я должен был осыпать тебя комплиментами, чуть только ты появилась. Но, понимаешь, я был так рад тебя увидеть...

– Верю, – прерывает его Марика. – Но Ники, прислав мне эту шляпку, выставил *такое* категорическое условие, чтобы я поехала к тебе именно в ней, что я, честное слово, подумала: может, это заветная мечта твоей жизни, чтобы тебя в лагере для военнопленных навестила девушка в зеленом

сомбреро с черными лентами?

– Ну, можно и так сказать, – хихикает Алекс. – Только знаешь, по-моему, черные ленты тут совершенно неуместны! Давай их снимем, а?

И не успевает ошеломленная Марика слова сказать, он проворно дергает за ленты, завязанные у девушки под подбородком, и снимает с ее головы шляпку, а потом с тем же проворством выдергивает ленты из прорезей. Увидев, что они пришиты к зеленой соломке, Алекс вынимает из кармана маленький маникюрный наборчик, напоминающий перочинный ножик-складень, и подпарывает нитки миниатюрными ножничками. Мгновение – и ленты исчезают в карманах его галифе, а зеленую шляпку, вернее, то, что от нее осталось, Алекс довольно небрежно нахлобучивает на голову Марике.

– Вот, – говорит он, удовлетворенно разглядывая ошарашенную кузину. – Теперь совсем другое дело!

Конечно, теперь совсем другое дело! Даже когда Марика сидит не шевелясь, чуточку великоватое ей сооружение из соломки норовит соскользнуть с головы. А что будет, когда она вздумает встать и пойти?

Через мгновение Марика узнает что. Шляпка съезжает ей на колени, и Марика с ужасом смотрит на неаккуратные дыры, зияющие там, где сквозь соломку были продернуты ленты.

– Ради Бога, Алекс! – восклицает она. – Немедленно вер-

ни мне ленты! Ты с ума сошел?!

– По-моему, это ты сошла с ума, – недоумевающе говорит ее кузен. – О чем речь? Какие ленты?

– Как это – какие? Те, которые ты вытащил из шляпки! Которые положил в свои карманы!

– В какие карманы?

– Перестань строить из себя дурака! – уже всерьез злится Марика. – В карманы галифе!

Алекс вскакивает и выворачивает перед Марикой карманы. Господи Иисусе... Да ведь они пусты! В них ничего нет, кроме носового платка, маленькой расчески, пресловутого маникюрного наборчика и коробка спичек. Марика поднимается с травы и проверяет сама, ощупывает каждый шов – ничего нет в помине, никаких лент! Но ведь она сама видела, как Алекс прятал их в карманы!

– Дорогая, успокойся, – уговаривает он, видя, что его кузина вне себя от недоумения и ярости. – Прощу тебя, забудь ты об этих лентах! Просто забудь, как будто их никогда не было. Вернешься в Дрезден – купишь себе новенькие, веселенькие, не столь мрачные. А про эти – забудь!

Марика смотрит на него исподлобья. Что-то здесь не так... Сначала она решила, будто это один из дурацких розыгрышей дорогого братца, одна из его шуточек, над которыми смеялся только он. Однако в голосе Алекса звучат какие-то странные нотки... Он вовсе не смеется, он очень серьезен. И Марика вспоминает, как настаивал в своем пись-

ме Ники, чтобы она приехала к Алексу непременно в его шляпке.

Да, здесь явно что-то нечисто! Это и дураку ясно было бы, а Марика вовсе не дура, хоть, пожалуй, не слишком догадлива.

– Может, все же объяснишь? – угрюмо спрашивает она, снова усаживаясь на траву и пытаясь уверить себя, что Алекс прав и никаких лент на шляпке у нее и в самом деле никогда не было.

– Лучше не надо, ладно? – мягко улыбается он. – Ничего не спрашивай, Машуня, умоляю тебя. Не обижайся: я просто не могу ничего тебе сказать. Иногда лишнее знание, понимаешь ли, может быть очень опасным. Как говорится, во многой мудрости многая печаль. Еще раз прошу, не обижайся: твоими ленточками слишком серьезно и много завязано не только для меня, но и для других людей.

При этих словах у Марики падает сердце. Ну да, она так и знала, что ее пылкие братцы не смогут остаться в стороне от знаменитого Résistance, Сопrotивления, к которому призывает французов генерал де Голль с того самого момента, как Петен отдал Францию бошам. И, конечно, наивно думать, что своего Résistance нет в Германии.

Ники в Париже, Алекс – в концлагере под Дрезденом... Кто еще? Наверное, таких людей много. Есть они и в Берлине, но Марике никого из них не узнать.

А что, если она уже знает одного из них? Что, если это

Торнберг?

Вполне логичное умозаключение.

Знает ли Алекс Торнберга? Спросить? Может быть, но только немного погодя, а пока надо вот что сделать – показать ему записку. Марика о ней совершенно забыла, а между тем – чем черт не шутит! – может быть, и она косвенным образом предназначалась Алексу, как пресловутые ленты?

Хотя нет, Торнберг не мог предположить, что Марика в каком-то безумном порыве вдруг решится – и вытащит его зашифрованную записку из мертвой руки Вернера.

Или мог?

Ладно, об этом потом.

– Слушай, Алекс, – говорит она миролюбиво. – Услуга за услугу. Я забуду про ленты, а ты помоги мне прочитать одну записку.

И она достает из кармана плаща злосчастный листок.

Ну, если она ожидала, что Алекс подпрыгнет на месте и вопьется взглядом в текст, то этого не случилось. Алекс смотрит с любопытством – но не более того.

– Ух ты, какой замечательный ребус! – восклицает наконец он. – Ты его где взяла?

– Ребус?

– А что, ты думаешь, это пиктограмма? – озадачивается Алекс. – Нет, здесь ведь имеют место быть не только рисунки, но и буквы. Однозначно алфавитное, то есть не буквенное, письмо, но о конкретике можно спорить...

Нет уж, о конкретике как раз лучше не спорить!

– Так где ты взяла эту зашифрованную записку? – находит наконец подходящий термин профессионал. – Да, так будет правильнее назвать сей «ребус».

Подумаешь, Марика и без всякого профессионализма называла эту штуку именно так!

– Где взяла? У одного человека, – уклончиво говорит она.

– Он профессиональный криптолог?

Марике трудно ответить на вопрос кузена. По многим причинам.

– Потом расскажу, – снова уклоняется от ответа Марика. – Ты сможешь разгадать этот «ребус»? Тут, кажется, изображены руны?

– Да, целых три, – кивает Алекс. – Вообще-то это руны победы, но...

– Руны победы? – перебивает Марика.

Удивительно: именно о рунах победы читал ей стихи Бальдр, даже не зная, что как раз о них и идет речь на листке. Удивительно точно угадал!

Руны победы,
коль ты к ней стремишься, —
вырежи их
на меча рукояти
и дважды пометь
именем Тюра! —

неожиданно для самой себя – надо же, она запомнила с одного раза эти не слишком-то вразумительные строчки! – читает наизусть Марика и гордо косится на Алекса: выразит ли он восхищение ее образованностью? Однако Алекс, этот несостоявшийся семиолог, как старый полковой конь, услышавший звук боевой трубы, уже всецело погрузился в разгадывание «аналфabetного письма» и только небрежно кивает своей эрудированной кузине:

– Вот именно. Однако я не договорил. Если бы руны имели строго значение победы, они были бы нарисованы вот так... – Он шарит по карманам френча, ничего не находит и с досадой обращается к Марике: – У тебя есть чем писать?

У нее в сумке лежит небольшой нарядный блокнот и золоченый карандашик с ластиком на конце – подарок любимого шефа на прошлое Рождество. Этот праздник, как и все христианские торжественные даты, не приветствуется в рейхе – Гитлер считает все, что связано с католическими традициями, кандалами на теле нации, и как тут не вспомнить «опиум для народа», которым называют религию большевики в России. Однако Адам фон Трот иногда позволял себе идти наперекор официозу. Марике не слишком-то хочется показывать эти прелестные вещицы Алексу, который всегда, как девчонка, был равнодушен ко всему писчебумажному, а уж автоматические ручки и карандаши вызывали у него приступы безудержной kleптомании, но делать нечего: любопытство в данном случае сильнее осторожности.

К ее облегчению, Алекс даже не обращает внимания на то, какая красота у него в руках, а немедленно начинает черкать на листке:

– Смотри: будь это сугубо руны победы, они были бы написаны вот так:



Именно в таком порядке и в столбик. Значит, их нужно читать каждую по отдельности, но при этом не забывать и об общем их смысле. А теперь о значении каждой отдельно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.